This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

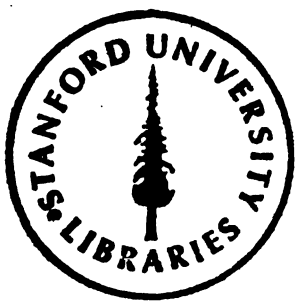
4759.

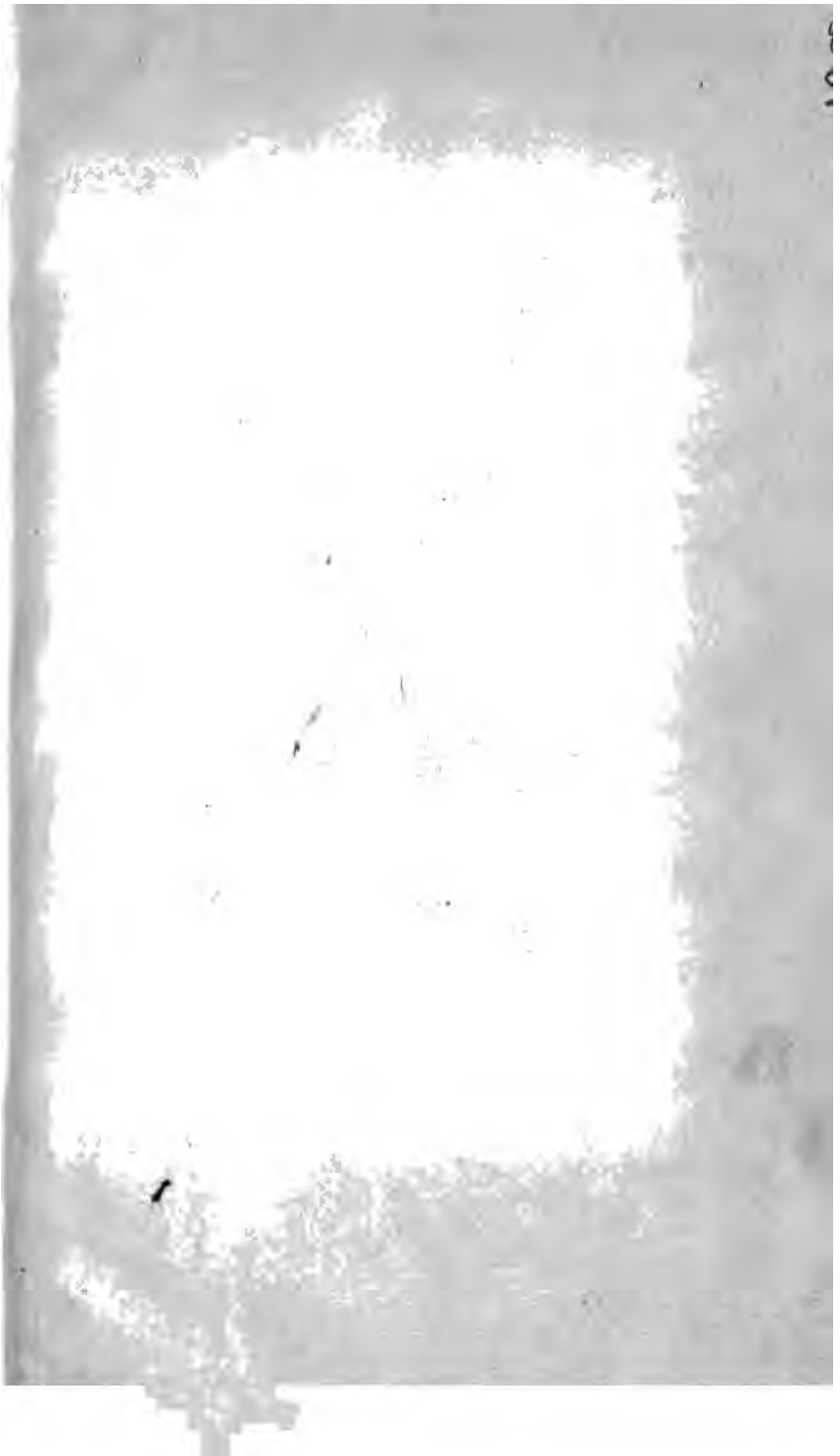
14910

MK
(K.3.)
49/12

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

4759

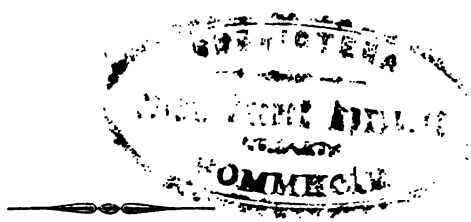




14910

ПРАВИЛА
ВЫСШАГО КРАСНОРѢЧІЯ.

Сочиненіе
Михаила Сперанскаго.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Въ Типографіи Втораго Отдѣленія Собственной
Его Императорскаго Величества
Канцеляріи.

1844.

Печатать позволяется

съ тѣмъ, чтобы по напечатаніи, представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ.
С. Петербургъ, Февраля 23 дня 1844 года.

Цензоръ *Никитенко.*

ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

Предлагаемое *Сочиненіе Михаила Сперанскаго* есть сочиненіе того рѣдкаго мужа, знатнаго и знаменитаго сановника нашей Имперіи, которому (*) нѣтъ подобнаго въ ея исторіи по разнообразію обширныхъ и глубокихъ познаній, по зоркости ума, по свѣтлости мыслей, по дару слова, соединявшему силу и простоту съ неподражаемою очаровательностію, и которымъ изустно и на письмѣ владѣлъ онъ безъ всякаго приготовленія ловко, свободно, по быстрому объему, и ясному, систематическому изложенію самыхъ трудныхъ государственныхъ предметовъ, по непосредственному участію, при трехъ Монархахъ, въ важнѣйшихъ постановленіяхъ Имперіи, наконецъ, по неизчерпаемой добротѣ сердца и любви къ человѣчеству,—сочиненіе *Графа Михаила Михаиловича Сперанскаго*. Оно написано имъ въ

(*) *Москвитянинъ*, 1843, № 4, стр. 480—489.

самое раннее время дѣятельной жизни его, въ 1792 году, когда онъ былъ еще юношею 21 года, только что кончилъ курсъ наукъ въ С. Петербургской Духовной Академіи и опредѣленъ Преподавателемъ Словесности и Физико-математическихъ наукъ въ той же Академіи. Это тотъ самый *Курсъ Словесности*, на который указано въ 1843 году, въ статьѣ одного Московскаго журнала (*), и который никогда не былъ напечатанъ, но въ Академіи и внѣ ея ходилъ доселѣ по рукамъ рукописный, подъ скромнымъ, означеннымъ здѣсь названіемъ: *Правила Высшаго Краснорѣчія*, и проч. Это сочиненіе сообщено мнѣ отъ одной почтенной духовной особы, назадъ тому тридцать лѣтъ, также въ спискѣ, хранившемся въ ея библіотекѣ, съ котораго тогда и снялъ я новую копію для себя. И тридцать лѣтъ не переставалъ я наслаждаться симъ юношескимъ, но исполненнымъ ума и силы, произведеніемъ Графа М. М. Сперанскаго. По кончинѣ Графа въ 1839 году, я ждалъ, не будетъ ли издано въ свѣтъ сіе сочиненіе въ числѣ другихъ его твореній *неслужебныхъ*, коимъ онъ, какъ были слухи, посвящалъ минутные отдыхи свои отъ тяжкихъ трудовъ государственныхъ. Это не сбылось.

(*) Тамъ же.

Въ концѣ 1843 года, я рѣшился обратиться къ единственной дочери и наслѣдницѣ его (*) съ изъясненіемъ о моей копіи и съ мыслію объ изданіи въ свѣтъ сего давнишняго, но, какъ мнѣ кажется, вѣчно живаго сочиненія Графа, и при лестномъ письмѣ получилъ отъ нея право издать въ свѣтъ мою копію и вообще распоряжать ею по моему усмотрѣнію.

Дѣлюсь этою копіей съ любителями отечественнаго слова и чтущими память великаго автора подлинника ея. Судя по времени (1792 г.), едва ли этотъ авторъ не былъ *первый* и между всѣми нашими литературными знаменитостями, трудившимися надъ положеніемъ краеугольнаго камня зданію *новаго* Русскаго слова. Государственная служба увлекла его къ себѣ; но кто знаетъ, менѣе ли добра сдѣлалъ бы онъ и на поприщѣ словесности, физико-математическихъ наукъ и философіи (**).

(*) Къ Ея Высокопревосходительству, Дѣйствительной Тайной Совѣтницѣ, Елисаветѣ Михайловнѣ Фроловой-Багрѣевой, урожденной Сперанской.

(**) Съ 1794 года по конецъ 1796, онъ былъ также Преподавателемъ Философіи въ той же С. Петербургской Духовной Академіи.

Желая, сколько для меня возможно, быть полезнымъ будущему историку жизни и дѣлъ Графа М. М. Сперанскаго, я приложилъ въ концѣ этой книжки нѣкоторыя біографическія свѣдѣнія о Графѣ въ томъ видѣ, какъ они до меня дошли.

Издатель *И. Вѣтринскій.*

С. Петербургъ.
1844.

БИБЛІОТЕКА
Сарат. Ученой Архивной
Коммиссіи

О КРАСНОРѢЧІИ ВООБЩЕ.

Основаніе краснорѣчія, Г. М., суть страсти. Сильное чувствованіе и живое воображеніе для оратора необходимы совершенно. И какъ сіи дары зависятъ отъ природы, то, собственно говоря, ораторы столько же родятся, какъ и пінты. Въ самомъ дѣлѣ, примѣчено, что у самыхъ грубыхъ народовъ вырывались черты, достойныя величайшихъ ораторовъ. Поставьте дикаго, рожденнаго съ духомъ патріотизма и независимости, и снабженнаго сильнымъ воображеніемъ,—поставьте его въ такое жъ сопряженіе обстоятельствъ, въ какомъ стоялъ Димосѳенъ,—растрогайте его страсти, и дайте свободно излиться его душѣ: вы увидите въ немъ мысли высокія, сильныя, поражающія; языкъ его будетъ убѣдителенъ; страсти, коими сердце его исполнено, разольются въ его рѣчи; и образомъ почти механическимъ, онъ дастъ своимъ слушателямъ тотъ же ударъ, и сообщитъ то же движеніе, коимъ душа его потрясается. Все различіе между имъ и Димосѳеномъ состоять будетъ только въ томъ, что его мысли бу-

дутъ безъ связи, безъ искусства, разсѣяны, не выдержаны; его рѣчь будетъ сильна, но отягчена повтореніями, безъ гармоніи, безъ пощады для уха; и, чтобъ принять его впечатлѣнія, надобно или имѣть столько терпѣнія, чтобъ забыть всѣ его недостатки, или быть столько неразборчивымъ, чтобъ ихъ не примѣтить, т. е. надобно быть самому дикимъ. Человѣкъ со вкусомъ тонкимъ и нѣжнымъ, привыкшій отъ высокаго переходить къ высокому не чрезъ сей тернистый путь холоднаго и простаго, но чрезъ цвѣты и красоты нѣжнаго рода, будетъ восхищаться съ нимъ въ мѣстахъ истинно краснорѣчивыхъ; но по окончаніи всей рѣчи онъ скажетъ, что дорого за нихъ заплатилъ: ибо веденъ былъ къ нимъ чрезъ мѣста сухія и скучныя. И такъ, чтобъ цѣлая рѣчь въ ушахъ просвѣщенныхъ имѣла свое дѣйствіе, мало къ сему бросить по мѣстамъ искры чувствія и силы; надобно сіи мѣста связать съ другими, усилить мысли, поставить ихъ въ своемъ мѣстѣ, поддержать выраженіе выраженіемъ и слово утвердить словомъ. И вотъ, чему должно обучаться. И такъ, мѣста краснорѣчивыя вдыхаетъ природа, т. е. надобно имѣть сильное чувствіе, или, что то же, надобно имѣть живое воображеніе и огненныя страсти. Чтобъ ихъ произвесть, дать имъ образъ, оправить ихъ, — если можно такъ сказать, — есть дѣйствіе науки.

Послѣ всѣхъ сихъ замѣчаній справедливо, кажется, будетъ съ д'Аламбертомъ сказать, что краснорѣчіе есть даръ потрясать души, переливать въ нихъ свои страсти и сообщать имъ образъ своихъ понятій. Первое послѣдствіе сего опредѣленія есть то, что, собственно говоря, обучать краснорѣчію не можно: ибо не можно обучать имѣть блистательное воображеніе и сильный умъ. Но можно обучать, какъ пользоваться симъ божественнымъ даромъ; можно обучать, позвольте мнѣ сіе выраженіе, какимъ образомъ сіи драгоцѣнные камни, чистое порожденіе природы, очищать отъ ихъ коры, умножать отдѣлкою ихъ сіяніе и вставлять ихъ въ такомъ мѣстѣ, которое бы умножало ихъ блескъ. И вотъ то, что собственно называется *Риторикою*.

Я раздѣляю Риторику, или средство усилить краснорѣчіе, на три рода: на чтеніе правилъ, чтеніе образцевъ, и собственное въ сочиненіи упражненіе. Правила Риторики бываютъ двоякі: одни суть рабскіе списки того хода, какой наилучшіе ораторы въ своихъ сочиненіяхъ наблюдали; другія суть отважныя дѣйствія ума, дробящаго собственныя свои удовольствія и покоряющаго упрямое и своевольное воображеніе своимъ выкладкамъ. Одни суть плодъ историческаго примѣчанія и работа памяти; другія суть произведеніе философическаго духа, ничего недопускающаго безъ причины, и хотящаго лучше знать мало, но основательно въ началахъ, нежели

много, но смѣшанно въ послѣдствіяхъ. Сей философическій духъ умѣетъ такъ раздроблять, что никогда не прикасается къ своему удовольствію; онъ не смѣшиваетъ предѣловъ, и судитъ о вещи въ собственной ея системѣ; не прилагаетъ математическихъ началъ къ чувствію, и не хочетъ заставить страсть умствовать. Онъ соглашается часто чувствовать, гдѣ не можетъ изъяснять; но никогда не принудятъ его покориться предубѣжденію, и вѣрить основываясь на единомъ только словѣ. — И такъ, есть въ Риторикѣ своя Метафизика, такъ какъ въ Философіи; она есть наука изъяснять изъ природы души тѣ пораженія, которыя мы испытываемъ при словѣ; или она есть разрѣшеніе нашихъ чувствій въ семъ родѣ на чувствіе удовольствія и досады. Она древнимъ была извѣстна, и составляла часть ихъ Философіи, называемую *Эстетикою*, или познаніемъ красиваго. Я тотчасъ буду имѣть случай дать примѣръ сихъ двухъ родовъ правилъ.

Аристотель, Квинтиліанъ, Цицеронъ и Лонгинъ суть наилучшіе образцы въ семъ родѣ. Но д'Аламбертъ, Беккарія, и еще нѣкоторые изъ новѣйшихъ, прошли далѣе ихъ въ философской его части. Читать правила, не восходя къ ихъ началамъ, есть дѣло безполезное и ребяческое; безполезное, ибо какъ можно удержать въ головѣ столько замѣчаній, столько предписаній, не пропустивъ ихъ, такъ ска-

зать, чрезъ свои понятія, не связавъ ихъ съ разсужденіемъ? ребяческое, ибо оно есть дѣло одной только памяти. Наилучшій способъ, мнѣ кажется, утвердить ихъ въ умѣ, есть восходить, сколько можно, къ ихъ началамъ и связывать ихъ съ подлинниками, съ коихъ они сняты. И такъ мы, по прочтеніи каждой части въ семъ подлинникѣ, будемъ присовокуплять къ ней и ея правила подъ именемъ общихъ разсужденій: ибо, въ самомъ дѣлѣ, правила суть общія понятія, сдѣланныя изъ частныхъ примѣровъ. Наши примѣры будутъ: Сорень и Цицеронъ.

Надобно очень различать каѳедру философскую отъ каѳедры церковной: съ одной говорятъ уму, съ другой сердцу. Но говорить уму и говорить сердцу, суть два случая очень между собою различные, различные по выбору самаго предмета и по образу его представленія. По выбору предмета: вы говорите о союзѣ души съ тѣломъ; вы изъясняете мнѣнія философовъ; вѣсите причины и сомнѣнія; рѣшите и доказываете; наконецъ убѣждаете. Но какія страсти вы здѣсь будете возбуждать; какія поставите изображенія; какія бросите вы черты чувствія? Ваши примѣры облегчатъ воображеніе; но воспалятъ ли его? Ваши подобія сдѣлаютъ вещь яснѣе; но одѣнутъ ли они слово ваше во всю его пышность, дадутъ ли ему все его великолѣпіе? Вашъ слогъ будетъ текучъ и ясенъ; но гдѣ возмете вы сію стремитель-

ность, увлекающую за вами все вниманіе вашихъ слушателей, сей вихрь, уносящій ихъ противъ воли? Наконецъ вы просвѣтите умъ; но что скажете вы сердцу?—Такимъ-то образомъ природа самаго предмета часто запрещаетъ намъ совокуплять сіи два рода краснорѣчія.

Различный образъ взирать на вещи постановляетъ второе между ими различіе. Вы говорите о вѣчности: говоря какъ философъ, вы будете дробить ея понятія, отсѣкать двоесмысліе, установлять истинный ея смыслъ, сражаться съ противомыслящими, утверждать свое мнѣніе; вы дадите воображенію чрезъ подобія и примѣры, сколько можно, способъ понять тонкость его; вы успѣете, и сдѣлаете прекрасное, собственно такъ называемое, *Разсужденіе*. И вотъ что даетъ вамъ метафизическая сторона вѣчности. Но вы обратитесь на нравственную, и будете говорить какъ ораторъ - философъ. Вы отнесете ее къ человѣку; вы найдете въ ней великія понятія о нашемъ предустановленіи; вы составите его картину, покажете ее несчастному; вы прольете въ душу его утѣшеніе; ибо скажете: «ты будешь счастливъ,—вотъ твоя судьба»; вы покажете ее беззаконному и впустите въ него сто фурій; ибо скажете: «трепещи,—вотъ предѣлъ твоихъ злодѣяній»! Такимъ-то образомъ вы пройдете къ сердцу; тронете начальную его пружину, и страсти примутъ свой ходъ: вы сдѣлаете, собственно такъ называемое, *Слово*.

Самая даже нравственная сторона предмета можетъ быть различна.—Я послѣ предложу на сіе примѣръ. Сіи два рода краснорѣчія часто входятъ и часто не могутъ входить одинъ въ другой; часто мы проходимъ къ сердцу чрезъ умъ, а къ уму чрезъ сердце. Это правда, говорить уму можно безъ посредства сердца: и есть случаи, въ коихъ бы сіе посредство было даже нелѣпо. Но самый трогательный предметъ не можетъ почти дать столько страстнаго, чтобъ получить все дѣйствіе отъ одного его, безъ посредства ума. Дѣло состоитъ въ томъ, чтобъ опредѣлить, которая изъ сихъ двухъ частей должна владычествовать въ церковномъ словѣ?

Христіанское ученіе можно раздѣлить на два рода: на догматическое и нравственное. Къ первому относятся всѣ истины Откровенія, превышающія нашъ умъ. Таковы суть: зачатіе отъ Дѣвы Бога, Его воплощеніе, Его воскресеніе, и пр. Сочинить проповѣдь о какомъ нибудь догматѣ, есть собрать мѣста Священнаго Писанія, его утверждающія. Ибо что другое здѣсь можно сказать, какъ не доказать писаніе Писаніемъ? разумъ не смѣетъ сюда внесть святотатственнаго своего свѣтильника. Но свесть сіи мѣста, собственно говоря, есть дѣло катихизиса, а не проповѣди, а еще менѣе того дѣло краснорѣчія. Подъ нравственнымъ Христіанскимъ ученіемъ я разумѣю сіи истины очищенной нравственности, которыя проповѣдывалъ Сошедшій во

Іудею вселенныя Богъ. Сія нравственныя истины суть просты и извѣстны всѣмъ. Итакъ, слушатель приходитъ въ церковь съ готовою истиною; но сія истина въ немъ мертва; дѣло проповѣдника оживить ее. Слушатель можетъ чувствовать ее; но не чувствуетъ: дѣло проповѣдника заставить чувствовать ее. Умъ его уже въ ней увѣренъ; требуется только перевесть впечатлѣніе съ ума его на воображеніе, и сухое понятіе перелить въ чувствіе. Къ сему надобно разогрѣть его, раздуть въ немъ страсти, надобно говорить его сердцу. Вы говорите о добродѣтели: вы доказываете, что добродѣтель для насъ нужна, что мы къ ней обязаны, что она утверждаетъ покой общества, и проч.; но кто сего не знаетъ? безаконнѣйшій изъ вашихъ слушателей съ вами согласенъ. Онъ выходитъ отъ проповѣди, и находитъ въ умѣ своемъ тѣ же понятія и въ сердцѣ своемъ ту же пустоту и то же развращевіе. Вы жалуетесь, что онъ жестокъ. Неправда; ваша вина, что не умѣли дать сердцу его никакого потрясенія: возмите ваши кисти; напишите священный образъ добродѣтели; оживите краски его страстію; удалите отъ нея сей строгій видъ, какой даютъ ей лжемудрые; напишите истое изображеніе удовольствія, и назовите его *добродѣтелію*. Вдали, во мракѣ, поставьте чудовище, грызущее собственное свое чрево, изрыгающее изъ себя съ желчію ядъ, окруженное досадами, раскаяніемъ, муками, всѣмъ ужаснымъ; и внизу подпишите:

это *порокъ*. Потомъ выставьте сіе противоположное изображеніе. Не говорите, что первое должно любить, а втораго отвращаться: это пустыя слова. Заставьте только смотрѣть; помогите разобрать черты; укажите главные оттѣнки: и чье сердце не вострепещетъ при семъ видѣ, назовите того смѣло *жестокимъ*.

И такъ, нѣтъ почти сомнѣнія, что главный предметъ церковнаго слова, такъ какъ и краснорѣчія, есть *тронуть сердце*, т. е. разрѣшить истину на чувствіе удовольствія и досады. Я говорю: *главный*, а не *единственный;* и я нимало не остерегаю, чтобъ не должно было въ немъ также говорить и уму. Сіе даже бываетъ и необходимо: ибо часто страсть начинается потрясеніемъ ума, и оттуда переливается въ сердце, яко единственное свое вмѣстилище.

Выборъ предмета и образъ взирать на него суть два отличительные характера проповѣди. Въ философской рѣчи за предметъ пріемлется просвѣтить истиною умъ; въ проповѣди—тронуть его сердце. Въ первой главное дѣло—доказать; во второй—возбудить страсти. Изъ сихъ двухъ источниковъ различія вытекаютъ всѣ прочія и разливаются на каждую часть рѣчи, —на *изобрѣтеніе*, на *расположеніе*, на *доводы*, на *опроверженія*, на *слогъ* и проч. Разбирая Сореня по всѣмъ симъ частямъ, мы будемъ имѣть случай примѣтить яснѣе всѣ сіи различія.

ВСТУПЛЕНІЕ (Exordium).

Вступленіе должно быть просто; оно должно быть единственно для каждой матеріи; оно не должно слишкомъ далеко начинаться отъ нея, и не должно слишкомъ близко подходить къ ней. Таковы суть правила, кои даетъ для вступленія простая Риторика. Но риторъ-философъ не довольствуется повторить за Квинтиліаномъ и Цицерономъ всѣ сіи предписанія. Онъ хочетъ видѣть основанія оныхъ, и идетъ вопрошать о семъ природу нашея души.

Мы примѣчаемъ, что одна и таже вещь при извѣстномъ мыслей расположеніи дѣйствуетъ на насъ сильнѣе, а при другомъ слабѣе. Скажите одно оскорбительное слово человѣку озлобленному или приведенному въ гнѣвъ: оно покажется ему величайшею обидою. Но оскорбите несравненно болѣе того же самаго человѣка, когда онъ веселъ и разсѣянъ: онъ вамъ проститъ или и не примѣтитъ. Дайте несчастному малѣйшую тѣнь подозрѣнія или страха: онъ ухватится за нее, увеличитъ ее, и представитъ себѣ ужасною. Такимъ-то образомъ предъидущее расположеніе души способствуетъ или вредитъ настоящему впечатлѣнію. Вы хотите исторгнуть изъ слушателей слезы: наклоняйте сердце ихъ постепенно къ печали; приготовьте къ сему ихъ, и не дѣлайте имъ внезапныхъ переломовъ. И вотъ на чемъ лежитъ истинное основаніе *вступленія*. Оно есть введеніе

или пріуготовленіе души къ тѣмъ понятіямъ, которыя ораторъ ей хочетъ внушить, или къ тѣмъ страстямъ, кои въ ней онъ хочетъ возбудить. Отсюда сами собою выходятъ всѣ правила для вступленія.

1. Оно должно быть просто: ибо мудрить въ пріуготовленіи не есть пояснять свои понятія, но затемнять ихъ; не есть вводить слушателя въ матерію, но влещи его туда силою.—Въ продолженіи слова, можно принять тонъ возвышенный, можно взойти къ истинамъ отвлеченнымъ; но надобно прежде познакомиться съ своимъ слушателемъ, пріучить его за собою слѣдовать. Когда онъ войдетъ въ образъ нашихъ мыслей, тѣжъ самыя понятія, кои показались бы ему темны въ началѣ, будутъ тогда вразумительны: ибо онъ познаетъ истинное ихъ отношеніе и точку, съ которой надобно на нихъ смотрѣть. И такъ, всѣ вступленія тонкія и метафизическія, тѣмъ самимъ, что они слишкомъ умны,—порочны въ истинномъ краснорѣчіи. И сіе есть первое правило вступленія.

2. Горацій смѣется надъ сими пышными и многообѣщающими вступленіями,—надъ сими: *Fortunam Priami cantabo et nobile bellum.* Онъ присоединяетъ къ сему причину: quid enim dignum feret tanto hic promissor hiatu?—parturiunt montes, nascitur ridiculus mus. Онъ называетъ *fumum ex fulgore* сіи невыдержанныя творенія, коихъ голова убрана слишкомъ великолѣпно, и тѣмъ самимъ все прочее обезобра-

жено. Въ самомъ дѣлѣ, сдѣлать столь великолѣпное начало есть обязаться показать что нибудь въ послѣдствіи еще бо̀льшее. Но вообще примѣчено, что заставить много отъ себя ожидать, есть вѣрный способъ упасть.

Сіи два правила стоютъ иногда маленькихъ жертвъ молодому оратору, уловляющему съ нетерпѣніемъ все, что можетъ занять его слушателей. Онъ знаетъ, что есть люди, для коихъ все рѣшитъ первое впечатлѣніе; которые по слову судятъ о части, и по части о цѣломъ; для коихъ простое и ненарумяненное, такъ сказать, вступленіе есть вѣрный признакъ худаго слова. Чтобъ позанять ихъ, надобно блеснуть и ослѣпить ихъ съ начала. Вотъ камень претыканія для проповѣдниковъ! Но надобно рѣшиться презирать глупыхъ, или отказаться отъ похвалъ просвѣщенныхъ. Люди съ чистымъ вкусомъ находятъ свои красоты равно какъ въ простомъ, такъ и въ возвышенномъ. Бросайте черты легкія; вводите понятія ясныя; предлагайте ихъ слогомъ текучимъ; ступайте иногда по цвѣтамъ: но всегда озирайтесь, идетъ ли за вами вашъ слушатель. Вотъ красоты вступленія.

3. Мы опредѣлили вступленіе чрезъ введеніе къ страстямъ, а не чрезъ возбужденіе ихъ. Страсть не всегда начинается страстію, и часто слушатель въ началѣ подполагается холоднымъ. Это правда, ораторъ вступаетъ на каѳедру съ горящимъ уже серд-

Библиотека Сарат. Ученой Архивной Комиссіи

цемъ: ибо связь его понятій [illegible] явно, и онъ стоитъ теперь точно на той точкѣ, [illegible]ствуетъ страсть. Но слушатель отъ нея еще удаленъ: надобно его ввесть въ ту же систему понятій, и потомъ уже разверзать его страсти. Отсюда выходитъ третіе правило для вступленія: надобно слегка только касаться страстнаго во вступленіи, и никогда не раскрывать въ немъ совершенно всей матеріи.

Примѣчаніе. Нерѣдко самыя обстоятельства служатъ пріуготовленіемъ или введеніемъ къ мысли оратора. Ясно, что тогда все пріуготовленіе со стороны его излишне, и обыкновенныя правила вступленія падаютъ. Тогда надобно только найти истинную точку понятій, на которую обстоятельства привели слушателей, и умѣть начать ни прежде, ни далѣе ея.—Катилина входитъ въ Сенатъ; Сенаторы оставляютъ свои мѣста, и съ негодованіемъ отъ него удаляются: вотъ точка, съ которой должно начинать! Цицеронъ уловляетъ ее, бросается на каѳедру, и мещетъ на Катилину свой громъ сими молніеносными словами: «Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra»? и проч. Здѣсь обстоятельства все пріуготовили, и удаленіе Сенаторовъ отъ мѣстъ своихъ есть самое лучшее вступленіе для искуснаго оратора. Онъ охолодилъ бы страсть, еслибы началъ далѣе.—Таковы суть по большой части обстоятельства надгробныхъ рѣчей. Уныніе предстоящихъ, гробница, мрачная одежда всѣхъ покрывающая,—вотъ вступленіе! Надобны только Бессюетъ и Флешье, кои умѣли бы ими воспользоваться.—Массильйонъ предлагаетъ текстъ: «Тогда снидетъ Сынъ Человѣческій во славѣ Своей судити комуждо по дѣломъ.» Довольно сего, чтобъ пронзить ужасомъ слушателей; и вотъ вступленіе! Онъ не начинаетъ его, но

продолжаетъ сими словами: «Вѣрители вы, слушатели, сему ужасному суду? Если вы ему вѣрите, размышляете ли о немъ? Если вы о немъ размышляете, прилагаете ли его къ вашему жребію»? И для сей-то причины сіи вступленія называются вступленіями ex abrupto.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.

Доказательства, говоритъ Роллень, въ словѣ суть тоже, что кости и жилы въ тѣлѣ. Круглость, бѣлизна, живость членовъ, составляетъ красоту тѣла, но не силу и твердость. Но надобно опредѣлить точнѣе роды доказательствъ и показать, который изъ нихъ наиболѣе свойственъ церковному слову. Философы примѣтили (опредѣлили), что, собственно говоря, одна можетъ быть только въ свѣтѣ истина. Всѣ прочія суть только ея вѣтви; онѣ всѣ прикрѣплены къ одному общему корню. Низходя постепенно, дойти до сего корня есть—доказать истину. Такова есть природа истинъ вообще. Отличительный характеръ истинъ нравственныхъ состоитъ въ томъ, что, сверхъ сей всеобщей, онѣ, посредствомъ непримѣтныхъ сплетеній, сцѣпляясь одна съ другой, всѣ сходятся и оканчиваются въ нашемъ сердцѣ, или яснѣе, всѣ онѣ разрѣшаются на велнкое начало удовольствія и досады. И для сего-то сіи истины называются истинами чувствія. И такъ, нравственныя истины могутъ быть доказываемы двояко: 1) разрѣшеніемъ ихъ на общее начало истинъ, и 2) приведеніемъ ихъ къ чувствію. Я изъ-

яснюся примѣромъ. Что начало міра кроется въ ничтожествѣ, сія истина течетъ изъ общаго источника истинъ, т. е. изъ начала противорѣчія. Доказать сіе, есть разрѣшить ее на него, или открыть тѣ протоки, коими она съ симъ началомъ сливается. И вотъ предметъ логическаго доказательства. Но сія истина не имѣетъ никакого почти отношенія къ нашему сердцу. Для счастія нашего все почти равно, будетъ ли міръ вѣченъ или нѣтъ. Но когда скажутъ: «помогай бѣднымъ»,—не трудно примѣтить, что сія истина связана съ двумя различными началами. Взявъ первую ея нить, развивая ее, и слѣдуя за ней, мы придемъ къ началу неравенства состояній; проходя далѣе, перейдемъ мы къ той великой и окруженной мраками эпохѣ, въ которую возникли общества, когда законы въ первый разъ своимъ скипетромъ указали блуждающему человѣку единое счастіе, которое въ быстромъ теченіи обстоятельствъ и времени онъ могъ еще остановить и удержать при себѣ. Мы придемъ къ тѣмъ древнимъ и согбеннымъ подъ тяжестію вѣковъ столпамъ, симъ памятникамъ скончавшейся свободы, на коихъ въ первый разъ руки человѣковъ написали сіи слова: *обязательство, должность*. . . . . Тамъ заступило мѣсто равенства взаимное обязательство; тамъ, когда каждому раздаваемы были рукою законовъ его права, бѣдный получилъ право требовать у насъ помощи. И такъ, сіе право роди-

*

лось съ обществомъ, и оно составляетъ цѣлое звѣно въ его великолѣпной цѣпи, связующей народы. Простите мнѣ сей забѣгъ воображенія. Я хотѣлъ симъ показать, что, доказывая такимъ образомъ наше предложеніе и восхода къ его началу, можно встрѣтить на пути изображенія великія, поражающія истины; но сколько бы мы ни дѣлали уклоненій, начавъ съ сей точки, никогда не придемъ мы къ сердцу: ибо сердце ни обязательствъ, ни законовъ не знаетъ; оно не будетъ разумѣть нашихъ великолѣпныхъ разсказовъ; ибо на его языкѣ слова сіи не существуютъ. И такъ, сей образъ доказывать, касается только ума, и можетъ войти только случайно, или въ качествѣ перехода къ слово. И вотъ что я называю доказывать разрѣшеніемъ на общее начало истинъ. Но когда вы будете развивать другой конецъ сего предложенія, вы не будете удаляться отъ человѣка; чтобъ сыскать начало его обстоятельствъ, не покроетесь вы сами мраками трудныхъ разысканій, и не будете теряться изъ виду слушателей въ сихъ многосложныхъ умствованіяхъ; вашъ поступъ будетъ простъ и открытъ для всѣхъ. Въ срединѣ бѣдной хижины, гдѣ начертанъ образъ совершенной бѣдности, вы представите намъ старца. Обстоимъ малолѣтными его дѣтьми, едва еще могущими простирать къ нему свои нѣжныя руки, чтобъ требовать себѣ пищи, онъ беретъ кусокъ засохшаго хлѣба, и дрожащею рукою раздѣляетъ его бѣднымъ

своимъ птенцамъ. Сердце его при семъ видѣ раздирается. «Это послѣдній хлѣбъ мой, дѣти! . . . Я умираю . . . Но вы останетесь еще, и испытаете весь ужасъ сиротства и бѣдности. Промыслъ! . . .» И съ симъ словомъ старецъ испускаетъ духъ свой. Приведите вашихъ слушателей къ сему изображенію. Вотъ что̀ называю доказывать приведеніемъ къ *чувствію*. Сіи строки, когда родятся подъ перомъ оратора, пошлютъ каждое слово къ сердцу. И такъ справедливо, что нравственныя истины имѣютъ два начала, и по различію сихъ началъ, онѣ могутъ входить какъ въ рѣчь, такъ и въ слово, но въ каждое внося съ собою свой отличительный характеръ.— *Слѣдовательно доказывать нравственную истину въ проповѣди, есть открыть тѣ отношенія, коими она соединяется съ нашимъ сердцемъ; есть найти сіи тайныя нити, коими онѣ съ нимъ связуются.* Ясно, что потрясеніе, данное имъ, сообщится сердцу и произведетъ то, что̀ собственно называется *страстію*. И вотъ источникъ страстнаго въ словѣ. Чтобъ привесть въ свою зрѣлость страсть, такимъ образомъ рожденную, къ сему надобно знать природу страстей, ихъ ходъ, и ихъ языкъ,—три предмета, кои я постараюсь пояснить въ послѣдствіи. Теперь выведемъ изъ предложеннаго опредѣленія общія правила для доказательствъ.

1. Всѣ доказательства слишкомъ тонкія и метафизическія порочны въ истинномъ краснорѣчіи. Они

дѣлаютъ честь уму, но означаютъ недостатокъ благоразумія. Кто хочетъ писать собственно для того, чтобъ его не понимали, тотъ можетъ спокойно молчать.

Примѣчаніе. Можно имѣть мысли благоразумныя и вмѣстѣ говорить ясно. Дѣло состоитъ только въ томъ, чтобы найти сходственный понятію слушателей образъ выраженій; и сей образъ всегда бываетъ наилучшій. Нѣтъ почти мысли столь тонкой, которой бы не можно было предложить образомъ понятнымъ и простымъ.

2. Доказательства слишкомъ обыкновенныя порочны въ истинномъ краснорѣчіи. Это правда, есть матеріи, въ коихъ трудно сказать что нибудь новое. Дѣло хорошаго оратора возвратить предметамъ собственную ихъ важность и красоту. Одна и та же матерія, перелитая въ различные виды, можетъ сама показаться различною; и если не можно всегда быть новымъ по предмету слова, всегда можно быть таковымъ по обороту и выраженію.

3. Надобно, чтобъ одинъ доводъ не только не вредилъ другому, но и поддерживалъ его. Доводы всѣ могутъ доказывать одну и ту же вещь, и не имѣть между тѣмъ близкой между собою связи. Рѣчь потеряетъ симъ свое единство, и вниманіе слушателей развлечется. Дѣло оратора найти точку ихъ соединенія, и поставить такъ, чтобъ казалось, что одинъ непосредственно слѣдуетъ за другимъ. Отсюда употребленіе переходовъ.

О СТРАСТНОМЪ ВЪ СЛОВѢ.

Подъ страстнымъ въ словѣ я разумѣю сіи мѣста, гдѣ сердце оратора говоритъ сердцу слушателей, гдѣ воображеніе воспламеняется воображеніемъ, гдѣ восторгъ раждается восторгомъ. Vehemens ut procella, excitatus ut torrens, incensus ut fulmen, tonat, fulgurat et rapidis eloquentiæ fluctibus cuncta proruit et proturbat. Такимъ образомъ въ самомъ опредѣленіи страстнаго я заключаю наилучшее и, можетъ быть, единое правило для произведенія его. Это есть, что ораторъ долженъ быть самъ пронзенъ страстію, когда хочетъ ее родить въ слушателѣ. «Плачь самъ, ежели хочешь, чтобъ я плакалъ,» говоритъ Горацій (Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi; tunc tua me infortunia lædent). Душа спокойная совсѣмъ иначе взираетъ на предметы, иначе мыслитъ, иначе обращается, иначе говоритъ, нежели душа потрясаемая страстію. Читай, размышляй, дроби, разсѣкай на части лучшія мѣста, изучи всѣ правила; но если страсть въ тебѣ не дышетъ: никогда слово твое не одушевится, никогда не воспламенишь воображенія твоихъ слушателей; и твой холодной энтузіазмъ изобразитъ болѣе умоизступленіе, нежели страсть. Это потому, что истинный ходъ страстей можетъ познать одно только сердце, и что онѣ особенный свой имѣютъ языкъ, коему не обучаются, но получаютъ вмѣстѣ съ ними отъ природы.—Эней сходитъ въ жилище мертвыхъ. Тамъ пред-

стаетъ предъ него Дидона. Онъ старается предъ нею оправдаться. Что должна отвѣчать на сіе Дидона? Умы холодные, нечувствовавшіе никогда сего бѣшенства, сего мщенія, какое въ гордую женщину можетъ вдохнуть прѣзрѣнная любовь, здѣсь вывели бы ее осыпающую Энея упреками; они составили бы прекрасную рѣчь изъ ея жалобъ; и между тѣмъ они не провели бы ни одной черты сходственной ея положенію. Виргилій лучше ихъ зналъ страсть; и чтожъ у него Дидона отвѣчаетъ? Она молчитъ, и съ презрѣніемъ убѣгаетъ. Вотъ истинный языкъ страсти; но кто научитъ ему, ежели не научитъ сердце?—Въ жару сраженія покрываетъ Греческое войско мракъ. Что дѣлаетъ при семъ пламенный Аяксъ? не проситъ ли онъ боговъ разсыпать сей мракъ? не увѣщеваетъ ли солдатовъ? не клянетъ ли судьбу? Нѣтъ! Онъ вызываетъ бога съ собою на брань: «Юпитеръ! дай намъ день, и при свѣтѣ сражайся противъ насъ!» Надобно родиться Омиромъ, чтобъ изобразить такъ Аякса.—И такъ справедливо, что ежели какая часть краснорѣчія не терпитъ поддѣлки, это есть часть страстнаго. И нѣтъ ничего естественнѣе, какъ сіе: ибо страсти суть совершенный даръ природы. Стихіи, изъ коихъ онѣ составлены, суть наша чувствительность и воображеніе. Чувствительность полагаетъ въ насъ первыя ихъ искры; воображеніе раздуваетъ ихъ, и производитъ сей пламень, объемлющій сердце и разливающійся на все

собраніе. Разсмотримъ подробнѣе сіи двѣ стихіи нашихъ страстей.

О ПРИРОДѢ СТРАСТЕЙ.

Чувствительность есть даръ принимать самыя легкія и непримѣтныя другимъ удареніа предметовъ, и сохранять ихъ болѣе или менѣе въ мозгу. Ясно, что сей образъ поражаться зависитъ отъ образа строенія мозга и сердца; и потому чувствительность можетъ имѣть свои различныя степени. Трое встрѣчаются съ несчастнымъ: всѣ они при семъ видѣ поражаются, но поражаются различно. Одинъ чувствуетъ горесть его положенія; его нервы нѣжныя тотчасъ напрягаются; его душа тотчасъ печатлѣется на его лицѣ; онъ проливаетъ слезы; проходитъ его—и забываетъ. Это значитъ, что его сердце мягко, что оно удобно поражается, но поражается вскользь. Другой, кажется, ничего не чувствуетъ при первомъ взорѣ; между тѣмъ однакожъ душа его получила свой ударъ: надобно только время, чтобъ онъ прошелъ до нѣжной ея части, и произвелъ бы свое дѣйствіе. Это значитъ, что сердце его твердо и поражается медленно, но поражается сильно. Третій возмущается при первомъ взглядѣ; но сіе возмущеніе не изчезаетъ въ немъ, какъ въ первомъ, и не ожидаетъ времени, чтобъ открыться, какъ во второмъ. Потрясеніе всѣхъ частей его сердца столько же быстро, какъ электрическій ударъ, и чув-

ствуется столько же долго, какъ самая тяжелая рана. Далѣе сего не проходитъ чувствительность. И такъ верхъ чувствительности есть поражаться скоро и поражаться сильно. Начиная отъ сей точки и сходя постепенно, можно дойти до сихъ безпечныхъ и вялыхъ, такъ сказать, сердецъ, которымъ недостаетъ цѣлаго чувства противъ другихъ человѣковъ; для коихъ все одно—существуетъ ли вселенная, или нѣтъ. Симъ степенямъ чувствительности соотвѣтствуютъ и, можетъ быть, отъ нихъ зависятъ степени воображенія. Доброта воображенія состоитъ въ его живости или легкости, силѣ и огнѣ. *Воображеніе живое или легкое* перебѣгаетъ въ мгновеніе тысячу предметовъ, уловляетъ и сводитъ черты и оттѣнки самые отдаленные; и едва успѣваетъ схватить, такъ сказать, ихъ наружный видъ, какъ перелетаетъ уже къ другимъ. Оно видитъ много, но все только въ профиль. *Воображеніе сильное* смотритъ на вещи во всей ихъ величинѣ; объемлетъ предметы во всемъ ихъ пространствѣ; идетъ къ самой ихъ внутренности, и вноситъ въ душу изображенія часто безобразныя, но всегда великія; всѣ мелкія различія предъ нимъ изчезаютъ; концы вселенныя для него сходятся, и свѣтъ для него есть недѣлима́я точка. *Воображеніе огненное* единымъ ударомъ очесъ озираетъ весь горизонтъ; разсматриваетъ вещи, видитъ въ мгновеніе всѣ отношенія ихъ, чрезъ все проходитъ, все разрываетъ, все воспламеняетъ, къ

чему ни прикасается: словомъ, оно быстро и дѣятельно, какъ огонь, коего имя къ нему прилагаютъ. — Вотъ слабыя черты, отличающія три рода воображенія. Они бываютъ до извѣстной степени сопряжены, или, такъ сказать, слиты, слѣплены въ человѣкѣ; но одно которое нибудь всегда бываетъ владычествующее. Такъ Юнгу приписываютъ воображеніе сильное не потому, чтобъ онъ не имѣлъ довольно въ немъ живости, но понеже характеръ его изображеній есть—быть великими; понеже краски его ярки, и сильная его кисть бросаетъ часто черты смѣлыя, но часто неправильныя и даже уродливыя; часто уносимый своимъ восторгомъ, онъ теряетъ изъ виду слишкомъ видныя различія; стягиваетъ вещи наиразнороднѣйшія, и слѣды мощной его руки, доказывая его силу, доказываютъ вмѣстѣ, что не всегда воображеніе его повиновалось уму. Наилучшее воображеніе есть то, въ коемъ всѣ сіи обороты вмѣщены и соразмѣрены между собою. Изъ различнаго сопряженія сихъ различныхъ родовъ чувствительности и воображенія происходятъ различные роды страстей. *Страсти бѣглыя, легкія, живыя* суть плодъ чувствительности тонкой и нѣжной и воображенія быстраго. *Страсти порывистыя, сильныя,* происходятъ отъ чувствительности глубокой и воображенія пламенѣющаго. Одинъ и тотъ же человѣкъ можетъ имѣть страсти сильныя и вмѣстѣ нѣжныя; но не

можетъ имѣть тѣхъ и другихъ въ равномъ степени. Одинъ которой нибудь родъ ихъ будетъ имѣть всегда верхъ. Отсюда-то происходитъ, что въ каждомъ писателѣ владычествуетъ особенно которой нибудь родъ страстей.—Ломоносовъ вездѣ горитъ, и силенъ даже въ самыхъ бездѣлкахъ. Онъ предпріемлетъ пѣжиться съ Анакреономъ; но перо сладострастія въ его рукахъ не пишетъ; онъ нечувствительно пріемлется за любимую свою кисть, и сильнымъ почеркомъ вмѣсто красавицы изображаетъ намъ Россію. Самая любовь у него говоритъ языкомъ Ироевъ; и роль его Семиры есть наилучшая ода. Можно ли съ бо́льшею живостію, съ бо́льшимъ жаромъ описать битвы и сраженія, какъ писалъ онъ? Это потому, что здѣсь душа его говорила природнымъ своимъ языкомъ, и страсть водила его руку.—Сумароковъ изъ всего дѣлаетъ прекрасную эклогу. Его Ксенія въ самомъ сильномъ волненіи страстей говоритъ о цвѣткахъ, о сельскихъ забавахъ; и на мѣстѣ театральной любовницы вдругъ является пастушкой.—Такимъ-то образомъ владычествующая страсть противъ воли нашей вырывается всегда, и печатлѣетъ непримѣтно наши писанія. Счастливъ, кто знаетъ характеръ своей страсти, и умѣетъ такъ избирать свои предметы, что всегда она находитъ въ нихъ свое естественное мѣсто безъ принужденія и натяжки: тогда надобно только предаться влеченію ея и

умѣть ей повиноваться въ тѣ минуты, когда она повелѣваетъ.

И такъ единое средство къ возбужденію страстей есть—самому ихъ чувствовать. Къ сему не нужно однакожъ быть въ обстоятельствахъ, отъ коихъ онѣ обыкновенно возгараются. Не нужно быть несчастнымъ, чтобъ чувствовать печаль. Это требуетъ поясненія.

Душа имѣетъ извѣстную способность, посредствомъ коей она свободно можетъ на время принять всѣ положенія, какія дать ей угодно. Сія способность есть наше воображеніе. Оно замѣняетъ намъ вещественное чувствованіе; и, вспомоществуемы имъ, мы выходимъ, такъ сказать, изъ самихъ себя; забываемъ все окружающее насъ; ставимъ себя на мѣстѣ другихъ, принимаемъ ихъ чувства, страдаемъ, радуемся; словомъ, чувствуемъ съ ними. И сіято, между прочимъ, способность поставлять себя на мѣстѣ другихъ, есть, можетъ быть, и истиннымъ началомъ всѣхъ нашихъ нравственныхъ добродѣтелей. Она основана на самомъ естествѣ нашего чувствованія. Нѣтъ столь слабаго потрясенія, которое бы не оставляло въ мозгу своихъ слѣдовъ; и сіи-то слѣды или напечатлѣнія суть истая матерія нашего воображенія. Ибо оно ни что иное есть, какъ дѣйствіе души, перебѣгающей сіи нити понятій, кои въ мозгу нашемъ остались послѣ ударенія предметовъ. Напр., при видѣ несчастнаго, душа тот-

часъ обращается на тѣ понятія, которыя въ ней остались, когда сама она страдала; ими измѣряетъ она бѣдствія другаго; и если бы нашелся человѣкъ, который въ жизни своей не чувствовалъ ничего горестнаго, онъ никогда бы не понялъ, что̀ такое есть страдать.—И такъ слезы, исторгаемыя у насъ несчастнымъ, ничто другое суть, какъ дань, платимая собственнымъ нашимъ горестямъ.—Изъ сего слѣдуетъ, что̀ чѣмъ сильнѣе были наши пораженія, и чѣмъ глубочайшіе они въ насъ оставили слѣды, чѣмъ живѣе наше воображеніе, и чѣмъ быстрѣе перебѣгаетъ оно всѣ сіи слѣды; тѣмъ удобнѣе мы поставить можемъ себя на мѣсто другихъ, тѣмъ чувствованія наши будутъ сходнѣе съ чувствованіями ихъ. И такъ сила собственнаго чувствія, соединенная съ живостію воображенія, опредѣляетъ степень нашего состраданія. Такимъ образомъ страсти въ семъ видѣ разрѣшаются на прежнія начала, т. е. на чувствительность и воображеніе; и слѣдственно могутъ быть возбуждаемы въ насъ и безъ присутствія предметовъ. Довольно къ сему, чтобъ связь понятій привела душу къ той начальной нити, съ коей начинается извѣстный родъ оставшихся чувствій, и чтобъ воображеніе могло ихъ развивать. И вотъ какъ можно чувствовать печаль, не будучи несчастнымъ! Но наконецъ, кто предавался въ сочиненіи страсти, чье сердце дрожало тогда, когда подъ его перомъ рождалось живое и, такъ сказать,

дышущее изображеніе ярости или сладострастія, любви или отвращенія, тотъ лучше знаетъ всѣ сіи тайны человѣческаго сердца, нежели какъ бы я могъ ихъ изтолковать. Чувствуй, повторимъ еще, ежели хочешь, чтобъ другіе чувствовали съ тобою! пользуйся минутами страсти: ибо она скоро изчезаетъ. Когда размышленіе о предметѣ привело тебя къ такому мѣсту, гдѣ сердце начало трепетать, берись не медля за свои кисти и пиши; дай страсти всю свободу; слѣдуй за нею, доколѣ не охладѣетъ. Тогда брось и перо; ибо она не терпитъ принужденія. Тогда, а не прежде, принимайся за циркуль, и измѣряй строго ея произведенія. Она по большей части бываетъ въ нихъ неправильна: дай ей должный размѣръ. Она производитъ часто чудовищное послѣ изящнаго: отдѣли искусною рукою первое и оставь послѣднее. Она часто залетаетъ за предѣлъ понятій: умѣрь ея пареніе и поставь ее въ виду слушателей. Часто языкъ ея, будучи слишкомъ скоръ и жарокъ, бываетъ невразумителенъ: переведи слова ея на языкъ обыкновенный и, оставивъ имъ всю ихъ силу, сдѣлай понятными; подобно быстрой и стремительной рѣкѣ, которая въ теченіи своемъ сдираетъ камни съ береговъ, отрываетъ цѣлыя глыбы земли, кружитъ и уноситъ съ собою все, что ей ни встрѣчается, часто страсть увлекаетъ за собою предметы совершенно разнородные и, дѣлаяся отъ сего смѣшенія какъ бы мутною, вредитъ самой себѣ. Отдѣли сіи по-

стороннія матеріи и оставь ей всю ея стремительность; сдѣлай ее чистою и прозрачною.—Ясно, что сія, такъ сказать, послѣдняя отдѣлка страстнаго требуетъ со стороны ума много тонкости и знанія сердца. Умъ неразборчивый, или слишкомъ самолюбивый, приметъ за истинно—страстный тотъ взоръ, который часто рождается вмѣстѣ съ изящнымъ и, имѣя начало свое въ страсти, не есть однакожъ законный ея плодъ; съ нѣжностію родителя, онъ будетъ щадить произведенія сіи, ей самой смертоносныя. Умъ холодной и слишкомъ тонкой, подводя страсть подъ свои правила, дѣлаетъ ее принужденною; и отсѣкая отъ нея части постороннія, онъ отсѣчетъ самыя существенныя; вмѣсто того, чтобъ поправить, онъ ее уничтожитъ; онъ будетъ дробить, разсѣкать, соображать: въ сей логической анатоміи страсть у него ускользнетъ. Отнимая часть послѣ части, на мѣстѣ прекраснаго и дышущаго тѣла онъ найдетъ однѣ только кости. Составить ихъ, или лучше, воскресить, умъ уже не въ силахъ; его дѣло только разрушать. Новый Сатурнъ, онъ знаетъ только пожирать своихъ дѣтей. И такъ въ исправленіи мѣстъ страстныхъ надобно избѣгать двухъ крайностей: т. е. не должно быть слишкомъ къ нимъ нѣжну, и слишкомъ строгу. Въ людяхъ, имѣющихъ вѣрной вкусъ, умъ всегда почти идетъ однимъ шагомъ съ страстію. Они вдругъ производятъ и поправляютъ страстное, или лучше, они его не поправля-

ютъ: ибо у нихъ родится оно почти совершеннымъ; и имъ-то можно безъ всякаго изключенія позволить предаваться со всею свободою страсти; съ ихъ пера стекаютъ, такъ сказать, совсѣмъ уже готовыя чувствія: ибо въ то же время, какъ страсть ихъ производила, разумъ приложилъ къ нимъ свою печать.

И такъ вопросъ состоитъ въ семъ: какимъ образомъ можно снискать сію вѣрность вкуса въ страстномъ, сіе равновѣсіе ума и сердца? Всѣ умствованія здѣсь безсильны: ибо мы уже примѣтили, что страсть имѣетъ свои законы. Одно наблюденіе можетъ намъ доставить здѣсь безошибочныя правила. И вотъ всѣ они въ двухъ словахъ:

Мы или описываемъ дѣйствіе страстей, или, будучи воодушевлены ими, ими говоримъ. И такъ примѣчай, какъ дѣйствуютъ страсти и какъ онѣ говорятъ.

Respicere exemplar vitæ morumque iubebo
Doctum imitatorem et vivas hinc ducere voces.

Горацій намъ повелѣваетъ — и Горація въ семъ послушать надобно — смотрѣть на природу и съ нея снимать наши списки. Я сообщу два примѣра въ поясненіе, какимъ образомъ должно дѣлать сіи наблюденія.

Вы хотите описать дѣйствіе нечаянной радости: чувствуйте сперва ее, т. е. поставьте себя воображеніемъ на мѣстѣ человѣка, который ее чув-

ствуетъ, и потомъ пишите. Вы изобразите такимъ образомъ страсть; но изобразите ее несовершенно: надобно поправить нѣкоторыя черты, надобно отдѣлать. Здѣсь долженъ работать вашъ умъ: но ему должно съ осторожностію приняться за сію работу; онъ упуститъ одну черту; прибавитъ лишнюю тѣнь—и изображеніе будетъ ложно. Онъ будетъ или недовольно разборчивъ, или недовольно жарокъ. Но онъ можетъ замѣнить тотъ и другой недостатокъ замѣчаніемъ. Онъ справится съ природою; онъ спроситъ у нея, что̀ дѣлаетъ человѣкъ пораженный нечаянною радостію, и дѣйствія сего случая сравнивъ съ своимъ изображеніемъ, онъ или прибавитъ что̀ нибудь, или отниметъ, смотря, какъ будетъ требовать сходство списка съ подлинникомъ. Ясно, что не тогда должно дѣлать сіи наблюденія, когда пишемъ: надобно, чтобъ онѣ были приготовлены прежде и хранились въ памяти. Такимъ образомъ страсть, которую вы возбудили, поставивъ себя на мѣстѣ человѣка въ радости, напишетъ ваше изображеніе; а разумъ, снабженный наблюденіями надъ образомъ ея дѣйствованія, его поправитъ и сдѣлаетъ совершеннымъ. — Петръ, освобожденный изъ темницы, приходитъ ко вратамъ дома, гдѣ собраны были вѣрные, и требуетъ, чтобъ ему отворили. Одна дѣвица узнаетъ голосъ,—и что̀ она дѣлаетъ? вы представите здѣсь, что бросается отворить врата ему? Это естественно, скажете вы. Неправда. Это

естественно въ кругѣ обыкновенныхъ дѣйствій души, но неестественно въ страсти. Познайте лучше страсть . . . Она оставляетъ его безъ отвѣта; бѣжитъ къ собранію, и возвѣщаетъ ему приходъ Петра. Вотъ истинный ходъ нечаянной и великой страсти въ сердцѣ! Великая радость по механическому нѣкоему побужденію ищетъ излиться: ибо сердце всю ее не можетъ вмѣстить. Раздѣливъ свою радость, душа не столько уже ею занята. И тогда-то она вспоминаетъ, что должно отворить врата Петру. —Магдалина, пришедъ на гробъ Іисуса и не обрѣтши его въ немъ, обращаетъ къ срѣтившемуся съ нею вертоградарю сіи слова: *Господи! аще ты еси взялъ его, повѣждь ми, гдѣ еси положилъ его, и азъ возму его.* Но какъ можетъ знать вертоградарь, о комъ она здѣсь говоритъ, кого она хочетъ унесть? Она говоритъ только: *аще ты еси взялъ его.* Сердце ея столько исполнено Христомъ, что она забываетъ его именовать; она не можетъ представить, какимъ образомъ другіе могутъ не знать того, что̀ она столь сильно чувствуетъ. Ей кажется, что весь свѣтъ занятъ однимъ съ нею предметомъ, всѣ мыслятъ о Христѣ, коего она ищетъ. Вотъ что̀ называется снимать съ природы! *Азъ возму его.* Дѣвица слабая, оставленна одна, подавленна печалію, думаетъ, что̀ въ силахъ унесть мертвое тѣло своего Іисуса. Любовь все представляетъ ей возможнымъ.—Вотъ какъ мыслитъ и какъ дѣйствуетъ

страсть; и вотъ что надобно наиболѣе примѣчать въ чтеніи писателей!

Тотъ, кто умѣетъ взирать на людей философскимъ окомъ, не упуститъ замѣчать въ нихъ явленія страстей, наблюдать ихъ дѣйствія и учиться человѣку среди человѣковъ.

Вторый и, можетъ быть, наилучшій, но не столько вѣрный способъ наблюдать страсти, есть читать наилучшія творенія въ семъ родѣ. Мнѣ кажется, надобно начинать чтеніе по сей части съ трагедіи. Въ прочихъ сочиненіяхъ страсти дѣйствуютъ скрытно; и надобно уже привыкнуть къ нимъ, чтобъ ихъ тамъ примѣтить. Но въ трагедіи изображены онѣ со всею силою, во всемъ рвеніи, со всѣми своими признаками. Тамъ можно слушать раздѣльно, какъ говоритъ ярость, мщеніе, гнѣвъ, любовь, ненависть, жалость, всѣ страсти. Хотите ли вы знать, какъ дѣйствуетъ ревнивость, когда она сражается съ любовію? послушайте Волтера, когда описываетъ Оросмана, подозрѣвающаго въ невѣрности Заиру: «Бѣги къ ней, Оросманъ, въ сіе самое мгновеніе, ступай, лети, покажи ей сіе роковое письмо; да вострепещетъ она при семъ видѣ; покажи ей его,—и тысячу ударовъ вонзи въ сердце невѣрной: но прежде нежели ее поразишь... Ахъ! любезный другъ, постой, постой; уже поздно. Я хочу, чтобъ сей Христіанинъ... я хочу, чтобъ онъ... нѣтъ! Я ничего не хочу; я умираю...» Сюда принадлежатъ мѣста изъ Княжнина.—Но мы

отнесемъ сей второй предметъ наблюденій въ страстяхъ къ послѣдующимъ разсужденіямъ о страстномъ въ словѣ. Здѣсь соберемъ въ одно мѣсто главныя черты нашего разсужденія о страстномъ:

1. Страстное долженствуетъ занимать главное мѣсто въ доказательствахъ: ибо доводами начинается убѣжденіе; но оно совершается потрясеніемъ сердца.

2. Основа страстей есть чувствительность и воображеніе.

3. Отсюда происходитъ главное и единственное правило для возбужденія страстей: чувствуй, ежели хочешь, чтобъ другіе съ тобою чувствовали.

Два примѣчанія на сіе правило мы сдѣлали: а) что не нужно быть въ обстоятельствахъ страсти, чтобъ ее чувствовать; довольно поставить себя въ нихъ воображеніемъ.

б) Рѣдко страстное вдругъ отливается совершеннымъ образомъ: его производитъ естественный даръ; но усовершенствуетъ разумъ. — Чтобъ разумъ могъ приняться за сіе съ успѣхомъ, надобно, чтобъ онъ зналъ, какъ дѣйствуютъ и какъ изображаются страсти.—Два наблюденія, кои онъ можетъ или самъ дѣлать надъ человѣкомъ, или заимствовать отъ тѣхъ изящныхъ умовъ, коимъ ввѣрила природа тайны человѣческаго сердца.

Таковы суть общія и начальныя понятія о страстномъ. Еще остается два слова о страстномъ въ церковномъ словѣ—и мы окончимъ.

Ораторская каѳедра есть театръ великихъ движеній духа, говоритъ д'Аламбертъ. Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ можно съ большею пристойностію раскрыть весь ужасъ порока, какъ не въ церковномъ словѣ? Ораторъ повсюду здѣсь имѣетъ въ глазахъ своихъ великіе предметы; наше счастіе, наши надежды, наше будущее, сокровенное нашего сердца, все ввѣрено его слову. Съ одной стороны, вѣра златымъ перстомъ указуетъ намъ оныя разительныя изображенія Христа, оставляющаго для насъ престолъ небесъ и обращающагося въ видѣ младенца бѣднаго, презрѣннаго, оставленнаго отъ всѣхъ. Вотъ какъ родился Тотъ, Который словомъ единымъ колеблетъ землю и небеса, потрясаетъ сердца горъ, предъ Коимъ все трепещетъ, или все обращается въ ничто. Онъ ростетъ и пріуготовляется къ тѣмъ ужаснымъ сраженіямъ, кои Ему должно выдержать съ предразсудкомъ, суевѣріемъ, завистію, фанатизмомъ. Сражаясь съ сими чудовищами чрезъ всю жизнь, наконецъ Онъ приноситъ за міръ оную великую жертву разгнѣванному Богу: Онъ умираетъ на крестѣ; Онъ умираетъ, и за кого? за міръ, который Его гналъ, за Іудеевъ, которые Его терзали, за насъ, которые Его часто презираемъ. Но моя слабая кисть не привыкла изображать толь великіе предметы: позвольте, чтобъ я занялъ мои краски у Руссо. «Я долженъ самъ признаться» говоритъ сей великій человѣкъ, «что величество Писанія меня изу-

мляетъ; святость Евангелія говоритъ моему сердцу: воззрите на писанія философовъ во всей ихъ пышности; сколь малы они предъ симъ! возможно ли, чтобъ книга столь высокая и вмѣстѣ столь простая была твореніемъ человѣковъ? возможно ли, чтобъ Тотъ, Коего она пишетъ исторію, былъ просто только человѣкъ? Сей ли тонъ есть тонъ энтузіаста, или любочестиваго основателя секты? Какая тихость, какая чистота въ Его нравахъ! Какое возвышеніе въ Его правилахъ! Какая глубина мудрости въ Его рѣчахъ! Какое присутствіе духа, какая тонкость и какая вѣрность въ Его отвѣтахъ! Какое владычество надъ страстями! Покажите мнѣ человѣка, покажите мнѣ мудреца, который бы умѣлъ жить страдая, и умереть безъ слабости и безъ притворнаго великодушія! Когда Платонъ пишетъ своего умственнаго праведника, покрытаго всѣми казнями порока, и достойнаго всѣхъ наградъ добродѣтели, онъ снимаетъ, кажется, каждую черту своего изображенія съ Христа: сходство между ими толь поразительно, что всѣ Отцы его чувствовали; и не возможно его не чувствовать. Какому должно быть предразсудку, какому ослѣпленію, чтобъ дерзнуть сына Софроніска сравнить съ Сыномъ Маріи! Какое разстояніе между тѣмъ и другимъ! Сократъ, умирающій безъ поношенія, безъ болѣзни, безъ стыда, легко могъ сдержать свой характеръ; и ежели бы сія легкая смерть не запечатлѣла его жизни, сомни-

тельно бы еще было заключить, чтобы былъ Сократъ со всѣмъ своимъ умомъ что̀ нибудь больше, нежели Софистъ. Онъ открылъ, говорятъ, нравственность человѣка; но другіе прежде сего обратили сію нравственность въ дѣло. Онъ только сказалъ то, что̀ они сдѣлали, и обратилъ ихъ примѣръ въ наставленіе. Аристидъ умѣлъ быть справедливымъ прежде, нежели Сократъ опредѣлилъ, что̀ такое есть справедливость; Леонидъ умѣлъ умереть за свое отечество прежде, нежели Сократъ назвалъ должностію любить оное. Грецiя была исполнена мужей добродѣтельныхъ прежде, нежели Сократъ сказалъ, что̀ такое есть добродѣтель. Но гдѣ Іисусъ взялъ сію возвышенную и чистую нравственность, которая дышетъ въ Его словахъ, и которой одинъ Онъ далъ наставленіе, и примѣръ? Изъ нѣдръ ужаснаго суевѣрія возникъ гласъ высочайшія премудрости, и простота ироическихъ добродѣтелей почтила презрѣннѣйшій народъ во всленной. Смерть Сократа, бесѣдующаго спокоiно съ своими друзьями, есть наилучшая смерть, какой только можно желать: но смерть Іисуса, издыхающаго среди мученiй, поносимаго, осмѣваемаго, проклинаемаго цѣлымъ народомъ, есть ужаснѣйшая смерть, какоiи только можно страшиться. Сократъ, принимая ядоносную чашу, благословляетъ того, который ее ему подноситъ, растворяя ее своими слезами. Іисусъ, среди своихъ мученiй, молится за лютѣйшихъ вра-

говъ. Такъ, если жизнь и смерть Сократа знаменуютъ мудреца, то и жизнь и смерть Іисуса знаменуютъ Бога». Таковы суть изображенія, кои духовному оратору представляетъ Вѣра.

Съ другой стороны, нравственная наука отверзаетъ предъ нимъ всѣ свои сокровища: все ея великое, все трогающее, все разительное она даетъ ему во владѣніе. Надобно только умѣть пользоваться сими дарами; надобно только имѣть сильную кисть; все прочее готово.

Но правило, необходимое для церковнаго проповѣдника есть то, чтобъ его страстное всегда сохраняло свой характеръ важности и величія; чтобъ его порокъ былъ ужасенъ, но несоблазнителенъ; чтобъ его добродѣтель была прелестна, но проста, и, какъ говорятъ, non effeminata; онъ долженъ писать съ природы, но долженъ дѣлать выборъ между предметами, и соображать съ величествомъ своего званія и мѣста. Онъ долженъ быть нѣженъ, но никогда не долженъ пускать своего воображенія въ сіи очаровательныя и запрещенныя ему мѣста роскоши и нѣги, гдѣ сладострастіе льетъ сладкой ядъ для сердца, но смертоносный для ума. Онъ долженъ быть живъ и одушевленъ: но сіи легкія, сіи, такъ сказать, lascivientes imagines, въ коихъ страсть рѣзвится и играетъ, должны быть вѣчно отъ него удалены.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Порядокъ, которому мы слѣдовали доселѣ въ сихъ разсужденіяхъ, послѣ вступленія и доказательствъ, приводитъ насъ теперь къ третьей и послѣдней части слова, т. е. къ его заключенію.

Дѣлать заключенія сухія и холодныя, значитъ терять плодъ своего слова. Собственно говоря, рѣчь не что иное есть, какъ приготовленіе слушателей къ совершенному убѣжденію. Слушатель въ продолженіи ея былъ движимъ вмѣстѣ съ вами страстію. Сердце его, ослабѣвшее отъ сего потрясенія, готово уже сдаться; для чего не пользуетесь вы его расположеніемъ? для чего погашаете вы огнь въ то самое время, какъ онъ долженъ быть въ величайшей своей силѣ? вотъ что значитъ разрушить своими руками собственное свое твореніе.

Съ другой стороны, заключенія слабыя даютъ случай подозрѣвать, что ораторъ самъ подавленъ своимъ предметомъ, что онъ не могъ его сдержать,— словомъ, что онъ слабосиленъ. Сія, такъ сказать, усталость проповѣдника сообщается и слушателямъ. Они перестаютъ уже думать о убѣжденіи; они раздѣляютъ съ нимъ трудность, которую онъ столь неискусно дастъ имъ видѣть, и радуются, что по толикомъ изнеможеніи, онъ успѣлъ окончить свою тяжелую работу. Они поздравляютъ его съ окончаніемъ, и отходятъ столько же равнодушны, какъ при-

шли. Цицеронъ обладалъ въ высочайшемъ степени всѣми частьми слова, но онъ особливо превосходенъ въ эпилогахъ или заключеніяхъ. Онъ въ одномъ мѣстѣ говоритъ, что когда многимъ ораторамъ должно было защищать одно дѣло, ему всегда предоставляли заключеніе. Мои, продолжаетъ онъ, по сей части успѣхи должны менѣе быть приписаны размышленію моего ума, нежели сколько излія-ніямъ моего сердца и живымъ чувствіямъ болѣзни, которыми я былъ пронзенъ.—Quid ego de miserationibus dicam, quibus ego sum usus pluribus, quod etiamsi plures dicebamus, perorationem tamen mihi omnes relinquebant, in qua, ut viderer, excellere non ingenio, sed dolore assequebar.—«Я признаюсь вамъ, судіи! я пораженъ, я пронзенъ словами, кои каждый день внимаю изъ устъ Милона. Да будутъ, говоритъ онъ, сограждане мои сильны, да будутъ безопасны, да будутъ счастливы» и пр. Еслибы не было никакихъ причинъ другихъ дѣлать заключеніе живое, разительное, дышущее, такъ сказать, огнемъ: одно сіе мѣсто Цицероново довлѣло бы къ тому, чтобъ поставить сіе правило.

Въ заключеніи часто дѣлаютъ повторенія главныхъ частей слова; но сіе повтореніе нужно только въ рѣчи обширной, объемлющей многоразличные предметы, когда не можно утвердить въ памяти слушателей главныхъ истинъ и ихъ основаній. Сверхъ сего сіе повтореніе должно быть кратко,

отрывисто, разнообразно. Симъ оканчиваемъ мы наше разсужденіе о частяхъ слова.

О сочиненіи.

«Non satis est dixisse, ego mira poëmata pango.» Тѣ ошибаются, кои думаютъ, что одно чтеніе и природныя дарованія довлѣютъ къ тому, чтобъ писать чисто и краснорѣчиво.—Сочинить книгу, говоритъ Лабрюйеръ, есть родъ ремесла, такъ какъ сдѣлать часы. Чтобъ быть писателемъ, мало къ сему имѣть умъ. Нѣкоторому судьѣ, продолжаетъ онъ, личныя его заслуги давали право на первѣйшее въ обществѣ достоинство: онъ былъ оборотливъ и опытенъ въ дѣлахъ; но онъ издалъ нравственное твореніе, рѣдкое по своей глупости. Чтобъ сочинить съ успѣхомъ, нужно, чтобъ умъ имѣлъ всю свободу мыслить; чтобъ не развлекался онъ пріисканіемъ пристойныхъ оборотовъ, рѣченій чистыхъ и значительныхъ словъ. Сіи мелкія заботы надобно оставить одному перу. Нужно, чтобъ воображеніе занималось только тѣмъ, чтобъ снять образъ вещи или составить ея картину въ умѣ: краски, тѣни, все нужное къ тому, чтобъ написать ее,—все сіе уже должно быть готово, или родиться вдругъ. Но какъ скоро на каждой строкѣ теченіе мыслей вашихъ будетъ прерываться, какъ скоро для каждой мысли вамъ нужно еще будетъ спрашивать у вашей памяти словъ или выраженій: отчайтесь написать что нибудь красивое; ваше воображеніе, разсѣянное по

столь многимъ и столь различнымъ предметамъ, потеряетъ свою силу; его жаръ охладѣетъ; и вы напишете твореніе несвязное, безъ плавности, безъ огня, безъ силы. Вы будете поправлять; но какъ поправка есть родъ сочиненія, то вы при ней впадете въ тѣ же погрѣшности, или увеличите число первыхъ. Никогда тщаніе и осторожность не замѣняли опытности и упражненія. И вотъ что случается со всѣми тѣми, которые мало сочиняли!

«Надобно прежде изчерпать всѣ роды заблужденій, чтобъ дойти до истины»—говоритъ Фонтенель. Надобно прежде изчерпать все посредственное, чтобъ потомъ написать что нибудь истинно краснорѣчивое. Это потому, что все наилучшее въ знаніяхъ всегда лежитъ, такъ сказать, на днѣ; это потому, что умъ нашъ утончевается постепенно, и утончевается собственнымъ своимъ упражненіемъ. Тысячи изображеній нравились намъ въ первыхъ опытахъ нашего пера. Они имѣли для насъ удовольствіе новости; они ласкали нашему самолюбію: ибо они были, такъ сказать, первенцы нашего ума. Но мы поступили далѣе, и теперь ихъ презираемъ, понеже степень ихъ красоты, довольствовавшій насъ тогда, не довольствуетъ уже теперь; понеже мы производили нѣчто лучшее; понеже вкусъ нашъ утончился; понеже умъ нашъ возвысился; и мы поднялись на высоту, съ которой, взирая на сіи первыя покушенія, смѣемся и себѣ и имъ. Прибавьте къ сему, что въ

1. Напиши сто небольшихъ сочиненій, прочитай ихъ съ доброю критикою, брось ихъ потомъ въ огонь, и продолжай далѣе писать. Первое послѣдующее за ними твореніе положитъ эпоху твоего краснорѣчія, и ты можешь быть увѣренъ, что совершилъ первой къ нему шагъ.

Примѣчаніе. Я знаю, что сіе правило покажется строго. Въ самомъ дѣлѣ, разстаться съ столь прекрасными твореніями, каковы обыкновенно бываютъ наши, и, что всего хуже, бросить въ огонь, яко слабые и начальные опыты пера,—я вѣрю, что это ударъ для самолюбія. Но не надобно себя обманывать, говоритъ Лонгинъ. Немножно быть краснорѣчивымъ, какъ подходя близко къ Цицерону или Демосѳену. Я указую симъ точку совершенства. Она отстоитъ далеко, и едва бываетъ постижима обыкновеннымъ глазомъ. Счастливые умы могутъ къ ней приблизиться. Но самъ Цицеронъ признается, что ея не достигъ. Между тѣмъ, знать ея мѣсто—во всѣхъ наукахъ необходимо. Философы давно уже примѣтили, что наши заблужденія не столько происходятъ отъ нашего незнанія, сколько отъ того, что не зная мы почитаемъ себя совершенно свѣдущими, и предѣлъ нашихъ познаній поставляемъ предѣломъ самыхъ вещей.—Аристъ во всю свою жизнь сочинилъ только два разсужденія. Онъ выправляетъ или портитъ ихъ, сколько можно лучше, перечитываетъ ихъ своимъ друзьямъ; простодушная его улыбка при нѣкоторыхъ мѣстахъ его творенія вырываетъ улыбку и у нихъ. Для чего не сдѣлать человѣку удовольствія, когда оно имъ стоитъ мало? Сверхъ сего Аристъ, какъ человѣкъ учтивой, самъ много разъ зѣвая, удивлялся ихъ твореніямъ: для чего не быть къ нему признательнымъ, и для чего не сказать, что Аристъ пишетъ божественно? онъ за сіе заплатитъ тою же

монетою. И такъ вотъ вашъ Аристъ и ораторъ, т. е. такой человѣкъ, который нашелъ ключъ къ человѣческому сердцу, и обрѣлъ точку, съ которой всегда можно его потрясать, восхищать и давать ему всѣ движенія, какія только будетъ угодно. Съ довольнымъ видомъ, съ глупою усмѣшкою, Аристъ презираетъ весь свѣтъ; и весь свѣтъ презираетъ Ариста: впрочемъ, онъ имѣетъ дарованія; но для чего онъ пишетъ столь худо, спросите вы? понеже думаетъ, что пишетъ божественно.

2. Второе правило даетъ для сочиненія намъ Горацій въ сихъ стихахъ:

Scribendi recte, sapere est et principium et fons.
Rem tibi Socraticæ poterunt ostendere chartæ,
Verbaque provisam rem non invita sequentur.

И такъ сперва размысли о предметѣ; раздроби его понятіе; разсмотри, къ какому роду истинъ принадлежитъ онъ; взвѣсь, сколько онъ тяжелъ, и можешь ли ты его снесть?

Sumite materiem vestris, qui scribitis, æquam
Viribus, et versate diu, quid ferre recusent,
Quid valeant humeri. Cui lecta potenter erit res,
Nec facundia deseret hunc, nec lucidus ordo.

Ясно, что сія часть сочиненія собственно относится къ Нравственной Философіи, — къ сей наукѣ, толико у насъ пренебреженной и толико нужной человѣку и оратору. Я не разумѣю подъ Нравственною Философіею сего ученаго собранія бездѣлокъ, украшеннаго всею пышностію доказательствъ, которыя тономъ догматическимъ научаютъ насъ

тому; что̀ мы давно уже знали, и открываютъ намъ тайны всему свѣту извѣстныя. Оставимъ безплоднымъ и сухимъ умамъ, симъ вѣчнымъ младенцамъ, съ важностію ребячиться и играть словами. Я называю Нравственною Философіею науку познавать человѣка. Отецъ ея—Сократъ, сей мудрецъ, отверзшій дверь къ человѣческому сердцу; Сократъ первый утвердилъ престолъ ея въ Греціи. Оттуда она простерла златой свой скипетръ къ народамъ. Она изучилась у Платона сему простому и величественному слогу, который, возвышая умъ, говоритъ нашему сердцу. Съ паденіемъ временъ и перемѣнами свѣта, ея сіяніе померкло, и въ вѣкъ ученаго невѣжества видны только были нѣкоторые слабые и потухающіе, такъ сказать, ея блески. Но когда просвѣщеніе въ другой разъ разверзло сильною своею десницею сіи мрачныя тучи, собравшіяся надъ нами; тогда и она облеклась въ прежній свой свѣтъ, и воспріяла упадшій изъ рукъ ея скипетръ. Тогда явились сіи свѣтоносные умы, внесшіе сильною рукою пламенникъ испытанія въ самые сокровеннѣйшіе исходы сердца. Сама истина вводила ихъ въ святилище мудрости. Тамъ на престолѣ, поддерживаемомъ геніемъ разума и опыта, они видѣли лежащъ златый свитокъ. Никогда рука непросвѣщеннаго не дерзнула разгнуть сей священный свитокъ. Единая истина могла къ нему прикасаться. Она разгнула его и показала имъ

вѣрное изображеніе человѣка. О, сколь оно было просто и сколь величественно! Нося вездѣ съ собою кисти и краски, они тотчасъ сняли съ сего подлинника, сколько можно, вѣрные списки; и удивленный человѣкъ въ первой разъ увидѣлъ точное образа своего въ нихъ очертаніе. О, сколь оно было несходно съ тѣмъ, которое давали ему лжемудрые! Это правда, что въ сихъ изящныхъ изображеніяхъ были нѣкоторые недостатки. Множество тѣней предоставлено было сдѣлать кистію тончайшею, нежели каковую имѣли сіи наперсники мудрости. Одинъ Ричардсонъ могъ обрисовать совершеннѣе ихъ извѣстныя человѣка части. Онъ принялся за работу; и подъ дышущею его кистію родилось очертаніе человѣка, вѣрнѣйшее всѣхъ до него бывшихъ. Но никто еще доселѣ не могъ окончить сіи первые опыты изображенія; никто еще не могъ вразумительно отвѣчать на вопросъ: что такое есть человѣкъ? Между тѣмъ оратору необходимо нужно знать все, что по сей части наилучшаго открыто было. Онъ долженъ говорить человѣку, и по большой части о человѣкѣ. Но какимъ образомъ онъ будетъ говорить краснорѣчиво, не говоря истинно? Что такое онъ скажетъ о нашихъ должностяхъ, не зная ихъ истиннаго начала и происхожденія? Онъ будетъ только повторять мысли черни, и доказывать великолѣпнымъ слогомъ заблужденіе. Что такое скажетъ онъ о добродѣтели, не зная истиннаго ея корня, не зная это-

хнея рожденія, не зная источника ея обязательствъ? Онъ только будетъ вводить признаки ея, и въ платоническомъ восторгѣ изображая добродѣтель, изобразитъ мечту, никогда несуществовавшую. Что такое скажетъ онъ о порокѣ, не зная, что такое есть порокъ, не зная перваго его очертанія въ душѣ, не зная, изъ какихъ стихій онъ слагается, какъ ростетъ, какъ усиливается, какъ вливаетъ ядъ свой въ сердце? Онъ начертаетъ порочнаго, и порочный въ семъ начертаніи себя не узнаетъ; онъ скажетъ, что таковъ есть порокъ; всѣ будутъ съ нимъ согласны—и никто не будетъ его разумѣть. Я знаю, что чернь философовъ даетъ легкія и по видимому очень простыя о всѣхъ сихъ предметахъ понятія. Но это потому, что они не заботятся о истинѣ, и лучше хотятъ отвѣчать пустыми и невразумительными словами, нежели признаться, что они не знаютъ; это потому, что они сплетаютъ басни, къ коимъ должно прiискивать истинный ихъ смыслъ; это, наконецъ, потому, что ихъ человѣкъ не есть человѣкъ, но только его идолъ, и ихъ философія не есть Философія, но замысловатая сказка. Первостепенные умы нигдѣ не находятъ столько непроходимыхъ мѣстъ, столько неизвѣстныхъ земель, столько неприступныхъ странъ, какъ въ нравственномъ мірѣ; и никакая часть Философіи не представляетъ имъ столько затрудненій, какъ часть нравственная. Это потому, что первые смотрѣли сквозь мраки предразсудковъ, и

видѣли только начальные слѣды, а вторые вошли въ самую ея средину, откуда проницательнымъ окомъ обозрѣли все ея пространство. Это потому, что во всѣхъ познаніяхъ умы посредственные видятъ все, а умы высокіе видятъ очень мало. Ибо первые, предѣлы своихъ познаній полагаютъ предѣлами самихъ вещей, и горизонтъ ихъ свѣденій кажется имъ концемъ вселенныя; а для вторыхъ карта человѣческихъ познаній есть безконечное пространство, на коемъ по мѣстамъ, и въ великомъ другъ отъ друга разстояніи, разсѣяно малое число истинъ, нѣсколько вѣроятностей, прочее все отмѣчено знакомъ неизвѣстности. И такъ, если ораторъ, коему только нужно знать нравственность человѣка, не пробѣжитъ сіе обширное поле легкимъ шагомъ, не кинетъ на него одинъ только поверхностный взглядъ, но будетъ часто останавливаться, размышлять, и совѣтоваться съ лучшими въ семъ родѣ умами: сколько тогда онъ найдетъ въ сей, повидимому, легкой части упражненій своему уму и вмѣстѣ удовольствія сердцу! сколь успѣхи его будутъ медленны и вмѣстѣ вѣрны, и наконецъ сколь богатую онъ найдетъ здѣсь жилу для своего витійства! Посмотримъ еще на второе наше правило. Размышляй прежде о своемъ предметѣ, и чтобы сіе размышленіе было удобнѣе, раздѣли его на части и обдумай каждую часть особенно.

3. Потомъ положи главныя мысли на бумагу, и сообрази ихъ съ цѣлымъ. Примѣть, всѣ ли онѣ со-

гласны между собою; не подрываетъ ли одна другую; всѣ ли идутъ къ одной цѣли, т. е. имѣютъ ли единство, толико нужное въ словѣ.

4. Такимъ образомъ получишь ты первую основу твоей рѣчи, но это еще будутъ однѣ, такъ сказать, кости; надобно навесть на нихъ тѣло и дать имъ жизнь. Здѣсь воображеніе твое должно дѣйствовать: ибо разумъ уже окончилъ свою работу. Оно дастъ симъ сухимъ частямъ ихъ полноту и прольетъ на нихъ свой жаръ, и въ сіе мертвое тѣло вдохнетъ духъ жизни. Но какъ производится сіе чудесное одушевленіе слова, это есть таинство столькоже неизвѣстное намъ, какъ и созданіе человѣка. Творческая сила воображенія, подобно силѣ Божества, извѣстна только намъ по ея дѣйствіямъ, а не по самой себѣ.

Два примѣчанія можно сдѣлать на сіи два послѣднія правила.

1) Есть умы слишкомъ живые и бѣглые, которые не могутъ остановляться долго на одномъ предметѣ, которые мгновенно перелетаютъ отъ одной мысли къ другой, и ихъ понятія, родившись скоро, въ тужъ минуту изчезаютъ. Сей родъ умовъ не можетъ иначе размышлять, какъ останавливая быстрый полетъ своего воображенія и возвращая его часто на протекшія мысли; и для того сіи мысли во время сочиненія должны быть предъ ними присущи, чтобъ воззрѣніемъ на нихъ могли рождаться другія. Они должны, такъ сказать, ловить ихъ и тот-

часъ класть подъ перо; не въ силахъ будучи слѣдовать нити размышленія въ своей головѣ, они должны разсуждать на бумагѣ. Я примѣчу мимоходомъ, что творенія сихъ людей обыкновенно бываютъ живы, и имѣютъ много огня; но надобно, чтобъ они много писали, имѣли много соображенія въ умѣ и твердости во вкусѣ, чтобъ сочиненія ихъ были правильны, и имѣли свое единство. Положивъ сіе условіе, не можно родиться счастливѣе ихъ къ тому, чтобъ быть краснорѣчивымъ.

2) Кто писалъ много, и писалъ съ критикою, тотъ можетъ предаться въ сочиненіи жару своего пера. Пріобыкнувъ чрезъ упражненіе мыслить правильно и изображать вѣрно, ему ненужно идти ощупью и озираться непрестанно. Онъ можетъ дать свободу своему дару, бѣжать безъ узды и безъ правилъ, и не прежде наблюдать путь, котораго онъ въ семъ дѣлѣ держался, какъ уже совершивъ его.

И такъ, сей боязливой ходъ, или сіе осторожное поведеніе ума въ сочиненіи, должны имѣть мѣсто только въ первыхъ нашихъ начаткахъ, а не въ зрѣлыхъ произведеніяхъ. Въ сихъ послѣднихъ надобно имѣть благородную смѣлость, и даже падать съ гордостію. Кто боится вступить разъ отважною ногою, тотъ вѣчно будетъ ползать. Но съ другой стороны, тотъ никогда не будетъ ходить твердо, кто не ходилъ прежде опираясь и какъ бы колеблющимся шагомъ; словомъ, надобно прежде писать мед-

ленно и съ нѣкоторою холодностію, чтобъ послѣ не писать, но лить пламень изъ пера.—Клеанеъ писалъ не много; но онъ имѣетъ плодовитый умъ. Ему надобно сочинить рѣчь. Онъ бросается къ столу, хватается за перо, пишетъ. Его мысли стекаютъ свободно; Клеанеъ въ скорости оканчиваетъ свою работу; Клеанеъ любуется быстротою своего ума, и дивится пылкости своего воображенія. Въ самомъ дѣлѣ, цѣлое сочиненіе поставить въ нѣсколько минутъ, это значитъ что нибудь. Наконецъ, что такое чудное произвелъ Клеанеъ?—онъ написалъ два листа плодовитаго вздору, и

Humano capiti cervicem iungens equinam,

онъ сдѣлалъ изображеніе блистательное по мѣстамъ, но безобразное въ цѣломъ. Поставивъ въ необъемлемомъ разстояніи мысль отъ мысли, безъ переходовъ и безъ связи, онъ написалъ въ одномъ сочиненіи десять. Вотъ какъ умѣетъ плодить творенія свои Клеанеъ! О удивительный человѣкъ! Но для чего онъ пишетъ такъ разсѣянно, спросите вы? Это потому, что онъ пишетъ, а не мыслитъ. Но Аристъ не тоже ли дѣлаетъ? Аристъ, кажется, не мыслитъ; у него такъ же подъ перомъ родятся мысли и выраженія: и между тѣмъ Аристъ пишетъ съ связью. Это потому, что Аристъ много писалъ, и привыкъ уже мыслить на бумагѣ.

Сочиненіе имѣетъ свои возрасты, такъ какъ и человѣкъ. Сіи возрасты очень нужно знать, дабы

ошибкою не прибавить себѣ лѣтъ, и не почесть себя мужемъ въ лѣтахъ юности или младенчества. Всегда нужно знать точку совершенства, и умѣть опредѣлить въ отношеніи къ ней свое мѣсто. Мы окончимъ изображеніемъ сихъ возрастовъ наши разсужденія о сочиненіи вообще, и поступимъ къ сочиненію въ его частяхъ.

О ВОЗРАСТАХЪ СОЧИНЕНІЯ.

Когда разкроются первыя способности нашего дара; когда умъ нашъ будетъ въ состояніи управлять нашимъ вниманіемъ; и когда память столько уже наполнена будетъ образами предметовъ, что въ силахъ будетъ доставлять ему для творенія потребные матеріалы: тогда мы покушаемся излагать мысли на бумагу,—и здѣсь начинается первый возрастъ нашего сочиненія; это первый и, такъ сказать, младенческій его возрастъ. Въ семъ возрастѣ, не имѣя еще состоянія будучи мыслить тонко, довольствуемся мыслить правильно. Нашъ умъ, какъ слабый младенецъ, тогда покушается только говорить; онъ лепечетъ нѣкоторыя слова; но не можетъ еще совершенно ихъ выразить. Стройность рѣченій, простота мыслей, множество словъ, первыя очертанія страсти, обезображенныя или недокончennыя въ ихъ отдѣлкѣ, — вотъ отличительный характеръ сего возраста!

Счастливъ, кто упражненіемъ и силою ума можетъ сократить время сего возраста! ибо есть люди, кои никогда изъ него не выходятъ. Сіи вѣчные младенцы не смѣютъ подняться выше перваго ихъ круга; и все, что время можетъ сдѣлать съ ними, это есть пріучать ихъ идти скоро, но всегда путемъ общимъ, проложеннымъ еще за нѣсколько предъ ними вѣковъ, тысячію умовъ посредственныхъ. Сей путь гладокъ и удобенъ; но никогда не провождалъ онъ ко храму истиннаго витійства; никогда слѣды Цицерона и Демосѳена на немъ не были видны. И симъ-то путемъ шествовали нѣкогда совсею важностію наши тяжелоученые писатели. Въ ихъ единообразномъ и скучномъ краснорѣчіи вездѣ видна боязливая правильность, не потому, чтобъ умъ ихъ былъ слишкомъ остороженъ, или разборчивъ; но понеже они не имѣютъ столько вкуса, чтобъ дѣлать смѣлыя уклоненія, и заблуждать съ пріятностію. Они никогда не падали; понеже всегда на землѣ пресмыкались. Съ теченіемъ лѣтъ и упражненія, умъ нашъ дѣлается тонѣе. Сіи красоты, которыя сильно занимали его сперва, дѣлаются для него со дня на день болѣе легкими, и наконецъ, по малости своей, предъ нимъ совершенно изчезаютъ. На мѣстѣ прекрасныхъ своихъ сочиненій, онъ видитъ многосложное сплетеніе истинъ слишкомъ простыхъ и слишкомъ извѣстныхъ. Онъ ищетъ красотъ, которыя бы уму его болѣе стоили, и болѣе бы его упражняли. Меж-

ду тѣмъ воображеніе его достигаетъ до извѣстной степени зрѣлости; страсти начинаютъ раскрываться и говорить ему голосомъ внятнымъ. Здѣсь начинается юношескій, такъ сказать, возрастъ сочиненія. Но разумъ еще не научился управлять имъ. Его око озираетъ уже болѣе пространства, но не можетъ проникнуть въ глубину предмета. Онъ видитъ въ матеріи много мыслей; но не умѣетъ привесть ихъ въ единство, или найти точку ихъ слія-нія. Отсюда происходитъ, что въ сочиненіяхъ сего втораго возраста болѣе бываетъ отступленій и забѣговъ, нежели мыслей, изъ самаго основанія матерій извлеченныхъ. Камень претыканія въ семъ возрастѣ есть подражаніе. Когда вкусъ получилъ уже довольно утонченія къ тому, чтобъ требовать чего нибудь большаго, нежели что досель удовлетворяло: онъ ищетъ въ твореніяхъ, кои соединяютъ въ пользу свою всѣ голоса знатоковъ истинныхъ,—онъ ищетъ въ нихъ основаній красоты, и сравнивъ ихъ съ своими, хочетъ узнать различіе между сочиненіемъ худымъ и сочиненіемъ краснорѣчивымъ, дабы оттуда произвесть общее правило и расположить по немъ свои произведенія. Но сіе различіе можетъ находиться или въ словахъ, или въ мысляхъ. Первое уловляетъ онъ съ одного взгляду; а второе отъ него укрывается. Онъ дѣлаетъ слѣдующее умствованіе: «Сіе сочиненіе, по отзыву всѣхъ, прекрасно: но почему оно прекрасно?

Понеже мысли въ немъ предложены новыми словами, или по крайней мѣрѣ вновь отъ прежнихъ произведенными. И вотъ все различіе между сочиненіемъ худымъ и сочиненіемъ краснорѣчивымъ, и истинный источникъ красотъ въ словѣ»! Такъ умствуетъ Клеанѳъ, читая пресловутыя сочиненія Ариста. Клеанѳъ поздравляетъ себя съ симъ открытіемъ, и радуется, что писать краснорѣчиво ему столь мало будетъ стоить. Ибо заготовивъ нѣсколько громкихъ и новыхъ словъ, онъ не сомнѣвается, что будетъ столько же хорошій ораторъ, какъ и Аристъ. Итакъ, нашъ Клеанѳъ дѣлаетъ себѣ правило: впредь не мыслить сочиняя, но соединять пышныя слова. Онъ полагаетъ съ памятію своею тайный договоръ, поставлять ему во время сочиненія не нѣсколько сихъ словъ, а уму своему повелѣваетъ непремѣнно ихъ связывать и вмѣщать въ сочиненіе, не смотря на все сопротивленіе мыслей. Тиранъ сихъ послѣднихъ, онъ повелѣваетъ дѣлать имъ всѣ насилія, нещадя ни истины ихъ, ни простоты. Онъ хочетъ того только, чтобъ любезныя его слова не потеряли чего нибудь, или бы не были опущены. Вотъ все его желаніе! Тщетно ему говорятъ, что изъ словъ, принуждающихъ мысль, можетъ выдти одинъ великолѣпный вздоръ, что сочиненія Ариста не потому превосходны, что въ нихъ стоятъ новыя слова, но что мысли его красивы, что слогъ его текучъ, что выраженія его тонки,

что наконецъ слова его сами приходятъ и ложатся подъ перо.

О СОЧИНЕНІИ ВЪ ЕГО ЧАСТЯХЪ.

Мы пробѣжимъ теперь различныя части сочиненія, и отберемъ къ каждой изъ нихъ, что̀ наиболѣе достойно примѣчанія, и во первыхъ —

О ИЗОБРѢТЕНІИ.

Часть сочиненія, наиболѣе дѣлающая шуму у Риторовъ, безъ сомнѣнія, есть *изобрѣтеніе*. Тысячи правилъ, тысячи пособій предписываются на нее въ ихъ книгахъ. Но сіи законодатели человѣческаго слова научаютъ насъ только хромать извѣстнымъ образомъ, а не ходить съ твердостію. Кто не получилъ отъ природы ума изобрѣтательнаго, тотъ тщетно будетъ прибѣгать къ симъ оракуламъ. Съ священнаго ихъ треножника они съ таинственнымъ видомъ проповѣдуютъ нѣсколько вѣковъ однѣ и тѣже самыя истины, выпущая ихъ только въ различномъ видѣ. Раздѣливъ всѣ предметы рѣчи на нѣсколько извѣстныхъ статей, они мнили тѣмъ оказать существенную услугу человѣческому слову. Они разкрыли источники изобрѣтенія. Это правда, что въ сихъ источникахъ содержатся всѣ предметы слова: но понеже всѣмъ они открыты, понеже всѣ изъ нихъ почерпать могутъ; истинный ораторъ гордо толпится къ нимъ съ чернію писателей,—и наука изо-

брѣтенія для него безполезна тѣмъ самимъ, что она слишкомъ легка и удобна. Въ самомъ дѣлѣ, еслибы можно было изъ *мѣстъ*, такъ называемыхъ, *топическихъ*, занимать матерію слова, тогда бъ все искусство изобрѣтенія состояло въ томъ, чтобъ имѣть сіи мѣста предъ глазами; тогда бъ всѣ предметы были разсуждаемы одинакимъ образомъ; все было бы единообразно или все простонародно; тогда бы сочинить разсужденіе значило только сказать съ холодностію и педантизмомъ, что предметъ его полезенъ или вреденъ, пріятенъ или отвратителенъ и пр.

И такъ оставимъ холоднымъ и сухпмъ умамъ почерпать изъ сихъ источниковъ: stultum est difficiles habere nugas. Мы будемъ искать воды живыя; наши правила изобрѣтенія будутъ состоять въ одномъ словѣ: *размышляй*. Говоря о сочиненіи вообще, мы сдѣлали на сіе правило поясненіе. Но сего не довольно: чтобъ найти мысли для сочиненія, надобно сдѣлать въ нихъ выборъ,—надобно искусною рукою въ сихъ матеріяхъ слова отдѣлить золото отъ постороннихъ веществъ. Сія часть изобрѣтенія будучи столькожъ нужна, какъ и первая, болѣе представляетъ затрудненій. Чтобъ въ ней успѣть, надобно имѣть вѣрный вкусъ: ибо какимъ образомъ можно узнать съ перваго, такъ сказать, прикосновенія, къ какому роду принадлежитъ извѣстная матерія, т. е. высокая ли она или красивая, естественная или простая, не имѣя твердыхъ и постоян-

ныхъ признаковъ того и другаго? И такъ наша наука о изобрѣтеніи разрѣшится на простое разсужденіе о вкусѣ.

О ВКУСѢ.

Вкусъ есть способность чувствовать изящное въ вещахъ. Но прежде нежели мы приступимъ къ разсмотрѣнію природы вкуса, разыщемъ: существуетъ ли вкусъ, или, есть ли въ природѣ нашей души непреложныя основанія красоты и изящности, и не есть ли вкусъ нѣчто произвольное и всякому особенное?

Разсматривая ближе Логику вкуса, мы находимъ, что онъ не что другое есть, какъ тотъ же самой разсудокъ, или разборчивость ума, посредствомъ коего мы судимъ о вещахъ. Все различіе между ими состоитъ въ томъ, что разсудокъ занимается справедливымъ, а вкусъ предметомъ своимъ полагаетъ красивое: и какъ есть извѣстныя правила, по коимъ мы судимъ о справедливомъ, такъ-же должны быть извѣстныя правила, по коимъ бы могли судить и о красивомъ: и слѣдственно есть Логика ума и Логика вкуса. Основаніе вкуса, на которомъ лежатъ всѣ истины, въ кругѣ изящнаго заключающіяся, есть начало нашего удовольствія. Его можно понять въ сихъ словахъ: все, что льститъ нашему самолюбію, для насъ пріятно. Сіе начало, подобно началу очевидности, дѣйствуетъ въ насъ прежде нежели мы его узнаемъ: ибо то и другое мы приносимъ

отъ природы, т. е. отъ тѣхъ первыхъ привычекъ, коихъ мы не въ состояніи примѣтить. Въ самомъ дѣлѣ, первыя сѣмена вкуса влагаетъ въ насъ природа. Дитя, строющее изъ картъ свои домики, чертящее свои изображенія, услаждающееся звукомъ своихъ погремушекъ, даетъ намъ разумѣть, что въ немъ кроются первыя искры вкуса; и сколь ни мелки его упражненія, между тѣмъ однакожъ они открываютъ, что онъ рожденъ съ чувствіемъ соразмѣрности, подражанія и согласія. Сіе чувствіе съ теченіемъ лѣтъ болѣе или менѣе будетъ упражняемо. Такова естественная Логика вкуса. Ясно, что она во многихъ отношеніяхъ несовершенна. Вкусъ черни, управляемый одною ею, остается навсегда въ первомъ своемъ младенчествѣ. Онъ видитъ менѣе, нежели половину въ вещахъ; тысяча другихъ красотъ въ природѣ и искуствѣ убѣгаютъ отъ грубаго его зрѣнія; на мѣсто ихъ онъ поставляетъ другія соразмѣрныя своему понятію, и такимъ образомъ созидаетъ вкругъ себя цѣлый міръ совершенствъ, въ природѣ никогда несуществовавшихъ. Въ семъ мечтательномъ мірѣ воображеніе его прогуливается съ удовольствіемъ, доколѣ разумъ волшебною своею тростью не разрушитъ очарованія и не сокрушитъ удовольствій.

Чтобъ открыть въ вещахъ красоты существенныя, чтобъ усмотрѣть ихъ сквозь всѣ внѣшнія завѣсы, чтобъ почувствовать ихъ со всею живостію и

удовольствіемъ, — надобно учиться видѣть, такъ какъ мы учимся мыслить.

Мы учимся мыслить двоякимъ образомъ, или замѣчая правила, посредствомъ коихъ истины сплетенныя мы разрѣшаемъ на простѣйшія, и приводимъ ихъ къ началу очевидности, или упражняя умъ нашъ въ самой очевидности, т. е. въ истинахъ простыхъ и отвлеченныхъ, каковы суть истины математическія. Первый способъ можно назвать умозрительнымъ, а вторый опытнымъ. Тотъ, кто соединилъ въ Логикѣ ума опытъ сего рода съ теоріею, обрѣлъ вѣрную нить къ истинѣ: тотъ же самой способъ должно наблюдать и въ Логикѣ вкуса. Надобно 1) умѣть разрѣшать удовольствія въ семъ родѣ на первое ихъ начало, и 2) чрезъ упражненіе въ изящномъ утончать способность, узнавать красоты и сообщать уму сіе тонкое и нѣжное осязаніе, которое съ перваго, такъ сказать, пріема чувствуетъ раздѣльно, и которое мы называемъ *добрымъ вкусомъ*.

Тѣ, кои о вкусѣ разсуждаютъ такъ, какъ о простомъ чувствіи, науку усовершать его заключаютъ въ одномъ только упражненіи или въ изученіи наилучшихъ образцовъ въ родѣ изящнаго. Сюда можно отнести чувствительность, тонкость, вѣрность и соразмѣрность вкуса: ибо все сіе усовершается чрезъ упражненіе. Но вкусъ, такимъ образомъ усовершенный, не всегда можетъ быть вѣренъ; и есть случаи, въ коихъ чувствіе не должно довѣрять самому себѣ;

по крайней мѣрѣ умъ остается въ сомнѣніи, достойно ли въ самой вещи то одобренія, что̀ нравится вкусу. Для сего надобно умѣть давать отчетъ въ собственныхъ своихъ удовольствіяхъ, и подвергать ихъ испытанію Философіи, сего несговорчиваго духа, который въ нашемъ вѣкѣ всюду хочетъ простерть свои права, все хочетъ изслѣдовать и все рѣшить.

Это правда, что взойти до первой причины нашихъ удовольствій и досадъ, есть предпріятіе столькожъ химерическое, какъ и хотѣть изъяснить дѣйствіе предметовъ на наши чувства, говоритъ д'Аламбертъ. Удовольствіе, продолжаетъ тотъ же философъ, есть шестое чувство, котораго тщетно любомудрые силятся открыть строеніе: ибо оно есть чувствіе простое. И такъ, когда вопрошаютъ: почему извѣстное чувствованіе пріятно, а другое противно? не стыдно отвѣчать молчаніемъ на сей вопросъ: ибо ничего основательнаго здѣсь сказать не можно. Но если первая и отдаленнѣйшая причина удовольствія покрыта непроницаемымъ мракомъ, то есть причины ближайшія или среднія, которыя могутъ быть для насъ видимы, если мы умѣемъ смотрѣть на нихъ философскимъ окомъ. Я изъяснюсь примѣромъ. Читая какое-нибудь сочиненіе, я встрѣчаю новую мысль, предложенную во всей своей простотѣ и силѣ. Она мнѣ нравится; почему? спрашиваютъ меня.—Я начну съ ближайшей

причины: понеже, скажу я, я чувствую, читая ее. удовольствіе,—и мое чувствіе есть первый судія въ семъ дѣлѣ. Далѣе меня вопросятъ: почему я чувствую удовольствіе? Понеже душа чувствуетъ всякой разъ удовольствіе, когда представляется ей случай привесть въ упражненіе свои силы и преодолѣть какую нибудь трудность,—и сіе то самое бываетъ, когда мы видимъ что нибудь новое; сей родъ побѣды даетъ ей выгодное о себѣ понятіе и ласкаетъ ея самолюбію. Вотъ доколѣ я могу отвѣчать! Но когда далѣе вопросятъ: почему то, что ласкаетъ нашему самолюбію, намъ пріятно? на сей вопросъ ничего отвѣчать не можно.—И такъ, причины удовольствій и досадъ можно разрѣшить на наше чувствіе и самолюбіе; хотя далѣе сего мы не имѣемъ довольно тонкаго зрѣнія, чтобъ примѣтить ихъ сложеніе. Два примѣчанія дѣлаю на сію истину:

1) Должно ли вкусъ разрѣшить на одно чувствіе, или позволить иногда ему и умствовать, Философы не согласны между собою. Тѣ, кои разрѣшаютъ его на чувствіе, утверждаютъ, что на вопросъ, почему извѣстный предметъ или извѣстная мысль дѣлаетъ намъ удовольствіе, не должно болѣе отвѣчать, какъ, что такъ мы чувствуемъ, и послѣ сего молчать. Другіе подходятъ далѣе, и утверждаютъ, что не должно на семъ остановляться и, чувствуя удовольствіе, надобно вопрошать, почему мы его чувствуемъ? И такъ, одни упражненія вкуса относятъ

къ чувствію; другіе чрезъ чувствіе, помощію логическихъ разрѣшеній, доводятъ его до самолюбія. Это правда, что въ рѣшеніяхъ, каковыя даетъ вкусъ, не видно сихъ тонкихъ раздробленій ума; и при видѣ предмета изящнаго мы по одному чувствію говоримъ, что онъ изященъ, не разыскивая, и часто не зная, почему. Сіе разысканіе охладило бы жаръ чувствія, и удовольствіе отъ насъ не примѣтно бы ускользнуло: и вотъ для чего мы опредѣлили вкусъ чрезъ дарованіе открывать въ твореніяхъ природы и искуства красоты и недостатки съ перваго на нихъ воззрѣнія, т. е. не изслѣдывая ихъ причинъ. Между тѣмъ однакожъ, поелику сіи причины тѣмъ не менѣе въ природѣ нашей души существуютъ, то не можно запретить уму вносить въ сію мрачную часть Философіи его свѣтильника, тѣмъ паче, что онъ можетъ намъ освѣтить путь къ началамъ твердымъ и постояннымъ, и усовершить нашъ вкусъ.

2) Изъ того, что можно разрѣшить вкусъ на сіи постоянныя начала, т. е. на сіе чувствіе и самолюбіе, и что сіе самолюбіе есть всѣмъ общее, слѣдуетъ: 1) что вкусъ не есть нѣчто произвольное, но что онъ имѣетъ свои законы; 2) что онъ долженъ быть во всѣхъ одинаковъ, ибо всѣ имѣютъ единое для него основаніе; 3) наконецъ, что усовершая начала вкуса, можно усовершить и самый вкусъ, который изъ нихъ слагается.

Второе изъ сихъ предложеній требуетъ особливаго пояснения: ибо признаться надобно, опытъ много говоритъ противъ его. Въ самомъ дѣлѣ, двое читаютъ Омира: одинъ въ изступленіи цѣлуетъ каждую его черту; онъ вмѣстѣ съ Аяксомъ пламенѣетъ; съ Ахилломъ бросается въ средину сраженія; его воображеніе горитъ; его сердце трепещетъ; его страсти кипятъ; онъ дышетъ, такъ сказать, всѣми чувствіями Омира. Другой съ спокойнымъ духомъ проходитъ всѣ битвы и опасности; страсти его спятъ; душа его хладна; онъ ничего не чувствуетъ, и смѣется сраженію боговъ. Юпитеръ, единымъ потупленіемъ страшныхъ бровей и потрясеніемъ своихъ власовъ колеблющій цѣлую вселенную,—сіе пресловутое въ Омирѣ мѣсто, которое первому кажется божественно, для него кажется просто и обыкновенно; и кто послѣ сего скажетъ, что вкусъ есть для всѣхъ одинаковъ, и что онъ постоянные имѣетъ законы?

Сколько сей опытъ ни сильно наклоняетъ утверждать противное, между тѣмъ, принявъ въ счетъ всѣ побочныя различія, какія могутъ быть между тѣмъ и другимъ человѣкомъ, и оставивъ все существенное, наше предложеніе будетъ неноколебимо. И во нервыхъ, степень чувствительности, зависящая отъ различнаго строенія органовъ и мозга, различный образъ мыслей, по различію воспитанія и жизни, предразсудки, пристрастія,—все сіе полагаетъ ме-

жду двумя человѣками необъятное разстояніе. Между тѣмъ однакожъ сіи различія нашей душѣ не суть существенны, и основанія вкуса во всѣхъ остаются одинаковы: ибо мы уже сказали, что они лежатъ на самолюбіи, которое всѣмъ намъ вообще существенно. Что геометръ, читая лучшія мѣста изъ Иліады, спрашиваетъ: что въ нихъ доказывается?—сіе не отъ того происходитъ, чтобъ вкусъ не имѣлъ постоянныхъ законовъ, чтобъ понятія красоты и изящества были нѣчто неопредѣленное и произвольное, но что умъ его пріобыкъ къ красотамъ другаго рода, неимѣющимъ съ красотами стихотворства тѣснаго союза; что воображеніе его никогда не воспламенялось; что занимаясь всегда одною твердостію, оно не можетъ дать вкушать душѣ другихъ удовольствій, кромѣ удовольствій умственной трудности; что наконецъ разсудокъ его отвлекъ къ одному себѣ всѣ попеченія его души, и оставилъ прочія способности ея безъ упражненія, или, такъ сказать, невоздѣланными. Но душамъ нѣжнымъ и чувствительнымъ всегда будетъ нравиться Виргилій и Омиръ; всегда онѣ будутъ пламенѣть съ Юнгомъ, горѣть съ Ломоносовымъ, и лить слезы съ Расиномъ. Я свидѣтельствуюсь въ семъ опытомъ цѣлыхъ вѣковъ. Не смотря на различіе нравовъ и образа мыслей, не смотря на разстояніе, какое насъ отдѣляетъ отъ Цицерона и Горація, не смотря на несходство и ослабленіе языка, они всегда будутъ нашими об-

разцами; и къ священнымъ ихъ памятникамъ никогда должное благоговѣніе въ сердцахъ не потухнетъ, доколѣ разумъ имѣть будетъ надъ человѣками свои права, и ходъ страстей и чувствій не перемѣнится.

И такъ есть постоянные законы вкуса, по коимъ всѣ просвѣщенныя и чувствительныя души равно видятъ красоты въ предметахъ, и ими поражаются; и о нихъ-то можно сказать, что всѣ онѣ одно имѣютъ чувствіе и едину душу. Но понеже степени чувствительности и просвѣщенія могутъ быть различны; понеже есть въ вещахъ, какъ примѣчаетъ Лабрюйеръ, точка совершенства, и какъ часто любятъ нѣчто выше или ниже ея: то есть вкусъ добрый и вкусъ худой, и споръ о вкусѣ имѣетъ свое основаніе.

Чтобъ рѣшить сей споръ, часто при видѣ изящнаго могущій родиться, и примирить несогласіе вкусовъ, надобно умѣть доказать справедливость своего чувствія, разрѣшивъ его на первыя и неоспоримыя начала. И такъ въ наукѣ о вкусѣ должно соединять оныя съ теоріею, т. е. надобно чувствовать и умѣть дать отчетъ въ своихъ чувствіяхъ. Мы опредѣлили вкусъ чрезъ способность чувствовать изящное въ вещахъ. Чувства изящнаго можно разрѣшить на сіи теоріи: на чувствіе высокаго, красиваго, тонкаго и естественнаго. Слѣдственно, давъ теорію сихъ чувствій, мы опредѣлимъ тѣмъ самимъ теорію вкуса; въ каждомъ изъ нихъ мы будемъ разсматривать:

1) изъ чего оно составлено; 2) приведемъ къ началу удовольствія и 3) покажемъ способъ выводить правила для произведенія его.

ТЕОРІЯ ВЫСОКАГО.

Мы ограничимъ наши разсужденія о чувствіи высокаго однимъ только *высокимъ въ словѣ*.—Чрезъ высокое въ словѣ разумѣю я то, что возвышаетъ душу и заставляетъ ее о самой себѣ принять высшее мнѣніе, наполняя ее удовольствіемъ и нѣкоторою благородною гордостію, какъ будто бы сіи мѣста, кои она слышала, сама она произвела.

Когда витійство, не довольствуясь внѣдриваться въ сердца и привлекать ихъ къ себѣ, съ собственнаго ихъ согласія, пріемлетъ голосъ ихъ владыки; когда, одѣяно всею силою слова, оно восходитъ на блистательной тронъ, и съ сей высоты молніеносною рукою мещетъ на нихъ громы свои, восхищаетъ насъ отъ земли, и изторгаетъ насъ, такъ сказать, изъ самихъ себя: тогда мы его называемъ *высокимъ*.

О СТИХІЯХЪ ВЫСОКАГО.

Вотще малый предметъ одѣвается всѣми красками искуства: онъ можетъ сдѣлаться пріятнымъ, но никогда не будетъ высокимъ. Не малому ручейку, сколько бы онъ прозраченъ ни былъ и сколько бы извилины его ни были разнообразны, не тѣсной доли-

нѣ; хотя бы она усѣяна была прекраснѣйшими цвѣтами, не низкому пригорку, хотя бы онъ былъ покрытъ пріятнѣйшею зеленью,—не симъ малымъ предметамъ даемъ мы имя высокаго: мы прилагаемъ его къ Альпамъ, къ Нилу, къ океану, къ сему необъятному пространству небесъ, въ которомъ теряется наше зрѣніе, и коего умъ нашъ не постигаетъ. Такъ примѣчаетъ Лонгинъ.

И такъ, первое качество высокаго, вообще есть величина. Отсюда происходитъ, что Виргилій, желая намъ дать высокое понятіе въ своемъ описаніи *славы*, изображаетъ ее столь великою, что, ступая по земли, она главою касается небесъ:

Ingrediturque solo et caput inter nubila condit.

Но откуда происходитъ сіе неизъяснимое удовольствіе, какое даетъ намъ вкушать высокое? Кто даетъ ему сію всемогущую власть надъ душами? Мы удивляемся въ высокомъ только самимъ себѣ. Душа взираетъ на вещи съ расположеніемъ, сообразнымъ ихъ природѣ. Когда она видитъ предметъ великій: она открываетъ всю дѣятельность свою, чтобъ его обозрѣть; ея способности разширяются; ея вниманіе напрягается; кругъ ея понятій раздвигается; самое существо ея, если можно такъ сказать, распространяется, и сама она дѣлается великою. Она гордится, измѣряя собственную свою великость, и, удивляясь величинѣ предмета, она удивляется самой себѣ. Сіе ведетъ насъ ко второму каче-

ству высокаго, которое столько же ему существенно, какъ и величина: это есть простота или единство предмета. Я называю простымъ тотъ предметъ, коего всѣ части составляютъ нѣчто единое и между собою подобное, такъ что видъ одной части, не остановляя душу, удобно провождаетъ ее къ другой, и такимъ образомъ всю объятность и пространство предмета представляетъ ей вдругъ. Безъ сей простоты, сколько бы предметъ ни былъ великъ въ своемъ цѣломъ, онъ не покажется намъ высокимъ. Его части раздѣленныя, каждая особенно, вносятъ свой образъ въ душу: и мы тогда не видимъ уже предмета высокаго, но множество малыхъ. Наше вниманіе тогда разсѣкается, и душа чувствуетъ неудовольствіе, что не можетъ обнять однимъ обозрѣніемъ всего, и что съ перваго ея взгляда пріуготовленное въ ней, такъ сказать, мѣсто для предмета остается пустымъ, или наполняется медленно и постепенно. Отсюда происходитъ, что море, усѣянное множествомъ малыхъ острововъ, не представляетъ намъ ничего высокаго; и небо больше насъ удивляетъ, когда синій сводъ его чистъ и прозраченъ, нежели когда покрытъ небольшими облаками. Часто мысли высокія теряютъ половину своей цѣны отъ украшенія. Сіе убранство рѣчи, которымъ будучи одѣты мысли простыя намъ кажутся прелестны, въ предметахъ высокихъ закрываетъ только ихъ сіяніе. Римъ вручаетъ судьбу свою троимъ

воинамъ. Братья герои выходятъ на ратное поле. Двое изъ нихъ падаютъ подъ непріятельскимъ мечемъ; третій притворяется бѣгущимъ. Въ сію минуту престарѣлому ихъ отцу возвѣщаютъ смерть двухъ его сыновъ, и онъ молчитъ; прибавляютъ побѣгъ третьяго и онъ приходитъ въ бѣшенство. Его вопрошаютъ: что бы сынъ его могъ сдѣлать, сражаясь противъ троихъ?—«Онъ могъ бы умереть» отвѣчаетъ пламенно старикъ. Сіе пресловутое: «онъ могъ бы умереть»—достойно признано высокимъ, и едино бы довлѣло сдѣлать безсмертнымъ имя великаго Корнеля. Но ту же самую мысль, примѣчаетъ Боало, предложите пышнѣе и великолѣпнѣе; вмѣсто: «онъ могъ бы умереть»—скажите: «за любовь къ отечеству, за спасеніе Рима, онъ могъ бы вкусить лютую смерть»—и высокое изчезнетъ.

Сіе примѣчаніе Г. Despréaux столько справедливо, что та же самая почти мысль, но поставлена будучи не столь просто и не столь, такъ сказать, обнаженно въ Димитріи Самозванцѣ, дѣлается почти непримѣтною. Шуйскій, видя вознесенный тираномъ мечъ надъ главою своей дщери, даетъ собственную жизнь за нее. Но тиранъ, не пріемля сей жертвы, требуетъ сдачи бунтующихъ; Шуйскій отвѣчаетъ:

«За градъ отеческій, вкушай, Княжна, смерть люту!» Сколько къ основанію ея прибавлено словъ, столько отнято красотъ, столько она ослаблена, на столько мелкихъ и непримѣтныхъ частей ея высо-

кое раздробилось. Два слова: «умри, Княжна!» болѣе, можетъ быть, имѣли бы силы.

И такъ неоспоримо, что начальныя стихіи высокаго суть *великость* и *простота* предметовъ. Между тѣмъ однакожъ должно признаться, что есть вещи, которыя вообще признаются высокими, хотя онѣ не имѣютъ сего пространства или великости, которую мы положили главнымъ основаніемъ высокаго. Но это потому, что разсматривая ихъ съ вниманіемъ, мы находимъ въ нихъ качества, замѣняющія сіе пространство. Продолженіе времени, собраніе великаго множества вещей подобныхъ и составляющихъ одно цѣлое суть столько же родовъ величины, и потому они, такъ какъ и пространство, возвышаютъ душу. Вѣчность, хотя и не имѣетъ пространства, но великостію числа она наполняетъ всю вмѣстительность нашего ума, и даже превосходитъ ее и наполняетъ насъ священнымъ къ себѣ ужасомъ и благоговѣніемъ.

Что можетъ быть удаленнѣе отъ всякаго рода величины, какъ наши страсти,—сіи простыя и недѣлимыя пораженія души? между тѣмъ однакожъ есть страсти высокія. Но надобно примѣтить, что образуя понятіе страсти, мы не ограничиваемъ себя простымъ потрясеніемъ души; мы неребѣгаемъ мыслію различные предметы, коими она занимается; мы представляемъ ея причины и ея послѣдствія. Всѣ сіи представленія, входя въ душу вдругъ, при

первомъ понятіи страсти, и будучи связаны съ понятіями величины, наполняютъ нашъ умъ. Удивительно ли, что мы находимъ нѣчто великое въ геройскомъ духѣ, когда при понятіи его представляемъ себѣ мощнаго завоевателя, который, разрывая всѣ встрѣчающіяся ему препятствія, силенъ противустать цѣлымъ народамъ, соединеннымъ противъ его, -который повергаетъ къ престолу своему необъятныя страны, пріобрѣтаетъ славу, гремящую о немъ въ отдаленнѣйшихъ концахъ вселенной, и коего память будетъ проходить изъ вѣка въ вѣкъ, даже до позднѣйшихъ потомковъ? Всѣ сіи понятія, тѣсно связанныя съ понятіемъ геройства, и касаясь извѣстными мѣстами величины, дѣлаютъ его великимъ. Я примѣчу мимоходомъ, что высокія страсти, когда онѣ владычествуютъ въ душѣ, составляютъ то, что̀ мы называемъ высокостію характера. Мы прилагаемъ имя высокаго реву волнъ, ударамъ грома и другимъ предметамъ ужаса: ибо они удивляютъ нашу душу, занимаютъ ее совершенно, остановляютъ почти всѣ ея упражненія, и тѣмъ вносятъ въ нее тѣ же перемѣны, какія производятъ великіе предметы.

Чрезвычайныя дарованія во всякомъ родѣ, когда мы разсуждаемъ ихъ въ самихъ себѣ или въ ихъ дѣйствіяхъ, мы называемъ высокими. Я полагаю въ семъ числѣ превосходство силы ума, и сіе величіе души, обладающее страстьми сильными и поры-

вестыми, презирающее богатство, власть, болѣзнь и самую смерть. Все сіе хотя не даетъ намъ понятія величины и количества, но замѣняетъ его избыткомъ качества.

Таковы суть понятія высокаго вообще. Высокое въ словѣ не можетъ происходить, какъ только отъ соображенія. Природа соображенія есть такъ тѣсно соединять различныя понятія, чтобъ они сливались, такъ сказать, въ одно. Въ семъ положеніи обыкновенно мы приписываемъ качества одной части цѣлому, или переносимъ его къ другимъ. По крайней мѣрѣ соображеніе дѣлаетъ, что умъ съ толикою удобностію переходитъ отъ одного понятія къ другому, что мы взираемъ на нихъ съ тѣмъ же расположеніемъ души, и поражаемся одинаково. И такъ, всякой разъ, когда одинъ предметъ вноситъ постоянно въ душу понятіе другаго, по естеству своему великаго, онъ самъ дѣлается таковымъ, по связи своей съ симъ послѣднимъ. Отсюда-то происходитъ, что слова и обороты мы называемъ великими. Высокое въ рѣчи происходитъ отъ высокости понятій, соединяемыхъ съ словами, и отъ характера особъ, ихъ произносящихъ. Писатель не достигаетъ высокаго въ словѣ, какъ только образуя себѣ понятіе высокаго въ природѣ. Онъ есть живописецъ, снимающій изображенія свои съ величайшихъ подлинниковъ: и хотя сіи изображенія не столько бываютъ сильны, какъ самое чувствіе, ме-

жду тѣмъ однакожъ, если они будутъ живы и точны, произведутъ въ насъ то же понятіе, какое мы соединяемъ съ предметами по существу своему высокими.

Но если предметъ, описуемый ораторомъ, самъ по себѣ ничего не имѣетъ высокаго, онъ его можетъ сдѣлать таковымъ по сравненію съ другими. Отсюда происходитъ, что метафоры, уподобленія, картины, часто сообщаютъ слову возвышеніе, коего оно само по себѣ не имѣетъ. Цицеронъ, чтобъ возвысить милосердіе Кесаря, сравниваетъ его съ милосердіемъ боговъ: homines ad deos nulla re propius accedere, quam salute hominibus danda. Сенека даетъ намъ высочайшее понятіе о дарованіяхъ Цицерона, когда сравниваетъ его умъ съ величествомъ и пространствомъ Римской имперіи: illud ingenium, quod solum populus Romanus par imperio suo habuit. Горацій уподобляетъ Пиндара быстрой и стремительной рѣкѣ, падающей съ огромной горы, сдирающей камни съ береговъ, крутящей и уносящей съ собою все, что ей ни встрѣтится:

Monte decurrens velut amnis, imbres
Quem super notas aluêre ripas,
Fervet, immensusque ruit profundo
Pindarus ore.

Каждое слово здѣсь даетъ намъ возвышеніе рѣчи: fervet, immensus ruit, profundo ore. Отнимите два прилагательныя: immenfus и profundo; поставьте fluit вмѣсто fervet, и labitur вмѣсто ruit, скажите: fluit

atque labitur magno Pindarus ore;—мысль останется та же, но сей огонь, сіе возвышеніе изчезнетъ. Столько-то дѣлаетъ подобіе, взятое отъ вещей великихъ!

Послѣ всѣхъ сихъ разысканій, мы скажемъ съ Лонгиномъ, что высокое есть извѣстная сила слова, которая восхищаетъ нашу душу, и происходитъ или отъ величества мысли и благородства страсти, или отъ великолѣпія словъ, или отъ громкаго, живаго и дышущаго, такъ сказать, оборота выраженія. Совершенное же высокое возникаетъ изъ сопряженія всѣхъ сихъ трехъ качествъ.

Къ симъ источникамъ высокаго можно присоединить четвертый, т. е. высокое картинъ или оторическихъ изображеній.

Сей послѣдній родъ высокаго бываетъ видѣнъ въ мѣстахъ, гдѣ ораторъ сильною кистію пишетъ предметы великіе, и ставитъ ихъ такъ, что они дѣлаютъ одно цѣлое, коего части всѣ подчинены главному намѣренію сочинителя.

Примѣры покажутъ сіе яснѣе. Я примѣчу между тѣмъ, что надобно имѣть сильное воображеніе, и даже родъ священнаго энтузіазма, чтобъ сдержать высокое. Для сей-то причины мы болѣе находимъ его образецъ въ великихъ пінтахъ, нежели въ ораторахъ.

Сколь великія понятія представляютъ намъ о величіи Бога сіи Исаіины слова: «Кто есть Сей, Иже горстію измѣри океанъ и пядію измѣри небеса, Иже держитъ тремя персты всю громаду земли и горы

возлагаетъ на вѣсы? Всѣ языцы предъ Нимъ суть только капля воды и яко зерно; всѣ острова предъ Его очами суть только одна пылинка праха; всѣ народы вселенныя предъ Нимъ яко небытіе; и Онъ взираетъ на нихъ, яко на ничтожество.»

Тотъ же Пророкъ такъ говоритъ на другомъ мѣстѣ: «Небеса разверзутся и проліютъ потокъ; основанія земли со стономъ восколеблются; земля возмятется, и нѣдро ея расторгнется, потрясется и преклонится: беззаконія ея подавятъ ее; она падетъ и не возстанетъ.»

Смотри такъже въ Оссіановой поэмѣ . . . . .

Массильйонъ описуетъ суету вещей симъ изображеніемъ: «Роковое преображеніе вещей, быстрое теченіе времени, предъ коимъ все преклоняется, увлекаетъ все въ бездну вѣчности; вѣки, племена, имперіи, все падаетъ въ сію пропасть, все тамъ теряется, и ничто оттуда не изходитъ. Наши предки проложили намъ туда путь: и мы проложимъ его нашимъ потомкамъ . . . Тако вѣки возобновляются; тако видъ земли безпрерывно перемѣняется. Все стирается, все сокрушается: единъ Богъ той же пребываетъ и лѣта Его не кончаются. Рѣки временъ и вѣковъ текутъ предъ Его очами, и Онъ взираетъ окомъ мщенія и ярости на слабыхъ смертныхъ, какъ, уносимы вихремъ судьбы, они извергаютъ хулы проходя мимо Его; уловляютъ сію единую минуту къ поношенію Его имени, и соступивъ съ

сей малой точки, впадаютъ въ сильную десницу Его гнѣва и правосудія.» Въ Юнгѣ много великихъ картинъ; но его порывистое воображеніе не даетъ ему ихъ отдѣлать. Оно уноситъ его въ странныя и далекія отступленія, въ чрезвычайныя сравненія, въ неестественные переходы. Сіи недостатки тѣмъ опаснѣе въ немъ, что въ самыхъ погрѣшностяхъ своихъ онъ горитъ, и самые пороки свои покрываетъ ослѣпляющимъ глаза сіяніемъ. Вотъ описаніе его ночи: «Се богиня, нощь исполненная сіяніемъ лишеннаго величества, сидитъ на черномъ престолѣ, и свинцовый свой скипетръ на спящій міръ простираетъ! Какая мертвая тишина! какая глубокая тишина! Ни око, ни ухо не обрѣтаетъ ни единаго предмета. Спитъ вселенная; кажется, будто бы всеобщій пульсъ жизненный остановился, и природа, для упокоенія себя, теченіе свое пресѣкла.—О судьба, опусти твой завѣсъ! ничего болѣе мнѣ уже терять не осталось.»

О ВЫСОКОМЪ ВЪ МЫСЛЯХЪ.

Массильйонъ въ надгробной рѣчи Людовику XIV такъ говоритъ о тратѣ многихъ великихъ особъ, предшествовавшихъ сему Государю въ гробъ: «Что я вижу? какое открывается зрѣлище для самыхъ поздныхъ родовъ, когда они воззрятъ на наши бытописанія? Богъ во гнѣвѣ разливаетъ опустошеніе и смерть на весь Королевскій родъ; колико священ-

ныхъ главъ однимъ почти ударомъ сраженныхъ, колико столповъ престола, единымъ потрясеніемъ изпровергнутыхъ! Ужасный судъ Бога начинается съ наслѣдника престола. . . Онъ сраженъ, и намъ осталось единое утѣшеніе въ принцессѣ; но едва наши слезы осушились, какъ смерть ея вновь источники ихъ отверзла. Сего недовольно: Твое мщеніе, Боже! готовитъ себѣ еще новыя жертвы. Сходя во гробъ, она увлекла туда съ собою и своего супруга.—Но остановись, Великій Боже! неуже ли ярость Твоя и могущество простретсяся далѣе? неуже ли громы Твои падутъ и въ средину сей малой колыбели, гдѣ лишь рожденный царь лежитъ? Но мечь Господень еще вознесенъ, и Богъ не внемлетъ нашимъ слезамъ; онъ вознесенъ, и гнѣвъ Божій, сразивъ послѣднія наши надежды, страшнымъ паденіемъ оканчиваетъ сіе ужасное и кровавое для цѣлыхъ вѣковъ и народовъ позорище.»

«О Боже страшный, но правосудный въ Твоихъ совѣтахъ надъ сынами человѣческими! въ Твоей десницѣ судьба и побѣдителей и побѣдъ. Твое могущество низвергаетъ единымъ словомъ ужасные колоссы, Самимъ Тобой воздвигнутые. Ты приносишь Твоему величію великія жертвы и поражаешь по Твоему хотѣнію сіи священныя главы, толико разъ Тобой вѣнчанныя!»

«Ты покоришся, или ты падешь предъ симъ побѣдителемъ, Алжиръ—Алжиръ, обогащенный тро-

*

феями, похищенными у Христіанъ! Ты рекъ въ сердцѣ твоемъ ненасытномъ: море повинуется моимъ законамъ, и на хребтахъ народовъ поставлю мой престолъ. Легкость твоихъ кораблей внушила тебѣ сіи гордыя надежды. Но ты будешь пораженъ въ самыхъ стѣнахъ твоихъ, яко хищный звѣрь въ ущелинахъ горъ; въ звѣрскомъ твоемъ бѣшенствѣ ты растерзаешь собственную твою утробу. Но мы узримъ конецъ твоимъ грабительствамъ.»

Судьба Государя любочестиваго (Массильйонъ): «Его слава будетъ обагрена кровію. Льстецы воспоютъ, можетъ быть, его побѣды; но области, но грады, но селенія омоютъ ихъ слезами. Ему воздвигнутъ гордыя изваянія; но дымящіеся прахи толикаго числа градовъ нѣкогда процвѣтавшихъ, но развалины стѣнъ, подъ коими погребено толикое множество мирныхъ гражданъ, но сіе ужасное опустошеніе, коего цѣлые вѣки, можетъ быть, не наполнятъ, — будутъ печальными памятниками его любочестиваго и безразсуднаго рвенія. Его царство въ бездну вѣчности падетъ, подобно быстрой рѣкѣ, въ разливѣ своемъ все подрывающей, все уносящей съ собою. Его гордость, глаголетъ Духъ Божій, возвысится даже до небесъ; его слава сокроется въ облакахъ; но вся сія громада славы будетъ наконецъ прахъ и пепелъ, и ничего по себѣ не оставитъ, какъ только поношеніе и стыдъ.»

Мысль о войнѣ (Маскаронъ въ н. с. Тюренню): «Если мы прельщаемся, образуя столь великое понятіе о славѣ побѣдителей; Великій Боже! я смѣю почти сказать, что мы прельстились. Ибо представляетъ ли священное писаніе Бога въ величественнѣйшемъ образѣ, какъ во образѣ вождя, шествующаго предъ неисчетными легіонами духовъ, сражающихся подъ Его знаменами? тамъ оно представляетъ намъ Его сѣдяща на колесницѣ, сіяющей молніями, и держаща громы въ рукахъ. Страхъ и трепетъ предъидутъ лицу Его; смерть повергаетъ тысящи непріятелей къ стопамъ Его; колеблетъ все, что ни встрѣчаетъ, и раздираетъ землю даже до самаго ея средоточія. Священнѣйшее титло, какое самъ себѣ даетъ Богъ, не есть ли титло Бога воинствъ? и наконецъ, когда онъ являлся на Синаѣ, не глаголалъ ли среди молній и громовъ?»

О причинахъ суевѣрія Египтянъ (L'Abbé Cart. R. Heluet. 235, discours IV): «Какимъ образомъ сей народъ могъ не быть народомъ суевѣрнѣйшимъ? Египетъ былъ страною волшебствъ и очарованій. Тамъ воображеніе непрестанно было ударяемо великими машинами чрезвычайнаго. Повсюду предъ нимъ открывались виды ужаса и удивленія. Государь былъ предметъ страха и изумленія. Подобно грому, который, будучи сокрытъ въ мрачной глубинѣ облаковъ, кажется, гремитъ съ большимъ величествомъ, онъ изъ среды своихъ ла-

бриитовъ и своего двора открывалъ народу свои велѣнія. Монархи являли себя подданнымъ въ ужасномъ образѣ могущества, самымъ небомъ имъ врученнаго. Они умирали—и съ сей минуты дѣлались богами; земля стонала подъ тяжестію ихъ гробницъ и мавзолеевъ: сіи могущественные боги покрыли Египетъ гордыми обелисками, коихъ надписи были таинство, ужасными пирамидами, коихъ верхъ теряется въ облакахъ; сіи благотворящіе геніи изкопали славныя озера, коими обезопасенный Египетъ съ презрѣніемъ смѣялся обижающей его природѣ.

Но болѣе ужасны, нежели престолъ и Государи,—храмы; и первосвященники еще болѣе поражали воображеніе Египтянъ. Въ одномъ изъ сихъ капищъ воздвигнутъ былъ колоссъ Сераписа. Никто изъ смертныхъ не дерзалъ къ нему приблизиться. Съ судьбой сего колосса соединена была судьба міра; и тотъ бы повергнулъ вселенную въ первобытный хаосъ, кто разбилъ бы сей священный талисманъ. Все тамъ было загадка, таинство, чрезвычайность; всѣ храмы давали прорицалища; во всѣхъ пещерахъ раздавались ужасные вопли; повсюду видимы были дрожащіе треножники, пророки въ священномъ бѣшенствѣ, жертвы, жрецы, чародѣи, одѣянные силою боговъ, и держащіе громы ихъ на пораженіе нечестивыхъ.

Между тѣмъ философы силятся сразить истуканъ суевѣрія; но завлеченные въ мрачные лабиринты метафизики, они раздѣляются въ своихъ мнѣніяхъ; каждый осѣменяетъ хаосъ своей системы; и оттуда выходятъ пышныя таинства Изиды, Озириса и Горуса. Такимъ образомъ обманъ, покрытый всѣми мраками таинственнаго и высокаго, въ богословіи и религіи былъ невидимъ. Если нѣкоторые изъ Египтянъ примѣтили его при слабомъ свѣтѣ сомнѣнія; месть, висящая всегда надъ главою нескромныхъ, затворяла очи къ сіянію, и ихъ уста къ истинѣ. Самые Государи, кои сперва для утвержденія своей власти, съ согласія жрецовъ, воззвали къ престолу своему ужасъ, суевѣріе и призраки,—Государи, говорю, сами трепетали предъ сими страшилищами. Они ввѣрили храмамъ священный залогъ младыхъ наслѣдниковъ; и здѣсь-то начинается роковая эпоха тиранства Египетскихъ жрецовъ. Не можно было положить никакого оплота ихъ могуществу. Государи съ младенчества были покровенны завѣсою суевѣрія. Изъ свободныхъ и независимыхъ, каковыми они были, когда видѣли въ жрецахъ только лжепророковъ и бѣсносвятовъ, они сдѣлались рабами и жертвами. Народы, всегда управляемые чувствіемъ Государей, слѣдовали ихъ примѣру, и весь Египетъ повергнулся къ стопамъ первосвященниковъ, и воскурилъ ѳуміамъ истуканамъ суевѣрія.»

О ВЫСОКОМЪ ВЪ СТРАСТЯХЪ.

Разсуждая о высокомъ вообще, мы примѣтили, что высокое въ страстномъ можетъ родиться, когда, при представленіи страсти, умъ перебѣгаетъ всѣ ея дѣйствія. Если сіи дѣйствія будутъ связаны съ понятіями величины и простоты, они сообщаютъ страсти извѣстное возвышеніе и силу.

Не всѣ страсти могутъ принять на себя характеръ высокаго. Ихъ вообще можно раздѣлить на тихія, или нѣжныя и медленныя, и на порывистыя, или жестокія и быстрыя.

Страсти перваго рода раждаются изъ чувствія тонкаго и воображенія живаго. Онѣ могутъ колебать сердце сильно, но, не имѣя ничего въ предметѣ своемъ высокаго, онѣ не могутъ содѣлаться и сами таковыми. Когда животворящій рѣзецъ Праксителя давалъ дыханіе мрамору и производилъ на свѣтъ образецъ совершенной красоты, сами Граціи водили его рукою, и тонкимъ перомъ указывали ему черты, кои провесть было должно. Онъ родилъ твореніе прелестное, въ коемъ бы самъ богъ любви обманулся; но онъ не произвелъ ничего высокаго.

Но когда ужасная кисть Мишель-Анжа изображаетъ Юпитера, бросающаго молніи свои на Гигантовъ, и низвергающаго необъятныя громады, что слагаясь изъ ужасныхъ горъ, грозили самому небу разрушеніемъ; онъ даетъ въ семъ изображеніи гнѣва и могущества высочайшее понятіе.

И такъ, ораторъ долженъ опредѣлить прежде пространство, на которое страсть разлиться можетъ, и обозрѣть всѣ предметы, кои въ разлитіи своемъ она обнимаетъ, дабы судить по великости сихъ предметовъ о степени возвышенія, до коего довесть ее можно.

Я полагаю, что упустивъ изъ виду сію предосторожность, онъ вздумалъ бы дать характеръ высокаго сребролюбію. Сколько бы умъ его ни былъ изобрѣтателенъ, сколько бы ни далеко проникалъ онъ въ послѣдствія сей страсти, блистательнѣйшее описаніе ея, составленное изъ всѣхъ богатствъ, какія только когда нибудь природа счастливѣйшему уму представляла, и покрытое всѣмъ блескомъ и всѣми красотами искуства,—было бы или напыщенно, или только красиво. Сія сила, сдвигающая, такъ сказать, душу съ ея мѣста и влекущая съ собою противъ ея воли, сей огонь, объемлющій и воспламеняющій ее въ одно мгновеніе,—все, существенное высокому, или не будетъ здѣсь имѣть мѣста, или займетъ его насильно и съ принужденіемъ. Слушатель тотчасъ примѣтитъ, что его хотятъ удивить съ умысла, и изъ невѣрія къ обману, родится въ немъ недовѣріе къ самой истинѣ. Онъ будетъ остороженъ, и не позволитъ себѣ быть чувствительнымъ. Но когда ораторъ хочетъ вселить ужасъ въ своихъ слушателяхъ и представить гнѣвъ Бога оплотомъ противъ злодѣянія; онъ не будетъ принужденъ искать возвышенія своему

слову въ предметахъ отдаленныхъ, и надмѣвать его насильными мыслей оборотами. Сія страсть сама по себѣ поставитъ его на сей высотѣ, которой онъ ищетъ, если только въ воображеніи его есть извѣстная легкость и пареніе, и если умъ его можетъ подняться выше обыкновеннаго своего круга.

Гнѣвъ вообще есть чувствіе сильное, жестокое, стремительное. Когда душа колеблется сею страстію, человѣкъ разрываетъ, кажется, всѣ союзы свои, забываетъ всѣ законы, всѣ отношенія и, разбивъ сіи цѣпи, онъ раздвигаетъ, такъ сказать, сіе пространство, въ коемъ силы его были сжаты; разширяетъ свое бытіе, и, однимъ шагомъ перешедъ все разстояніе, раздѣляющее его отъ природы, онъ возвращаетъ вдругъ всѣ первобытныя свои права независимости и свободы. Вселенная тогда для него становится пуста, и онъ дѣлается ея владыкою; онъ видитъ въ ней только себя и предметъ своей ярости. Онъ дѣлается существомъ всемогущимъ: ибо ничего не страшится, или все презираетъ. Таковъ гнѣвъ человѣка! Но гнѣвъ Существа безконечнаго—какого не можетъ принять въ словѣ возвышенія? какого не дастъ удара уму? какимъ огнемъ не воспалитъ воображеніе? «Господь, Господь ревнивъ (такъ изображаетъ сей гнѣвъ одинъ изъ Пророковъ), и мстяй Господь съ яростію; Господь мстяй супостатомъ своимъ и потребляяй враги своя; въ скончаніи и трусѣ путь Его и облацы прахъ ногъ Его; запрещаяй морю и

изсушаяй е, и вся рѣки опустошаяй. Горы потрясошася отъ Него, и холмы поколебашася, и ужасеся земля отъ лица Его, вселенная и вси живущіи на ней. —Ярость Его растаеваетъ горы и каменіе сотрошася отъ Него.—Господь ста, и подвижеся земля; призрѣ, и растаяша языцы; сърыпшася холмы нуждею и растаяша холми вѣчніи.—(Наум. гл. 1.)

Мщеніе, отчаянная любовь, соединенная съ ужасомъ ненависть, всѣ сіи и подобныя симъ страсти могутъ войти въ характеръ высокаго.

Четвертый видъ высокаго есть высокое въ словахъ; но мы отнесемъ сію часть къ послѣдующимъ разсужденіямъ о слогѣ; а теперь присовокупимъ нѣкоторыя примѣчанія о высокомъ вообще и о пособіяхъ его, и тѣмъ окончимъ сіе разсужденіе.

1. Легчайшій способъ отличить высокое въ твореніяхъ есть—чувствовать его. Когда извѣстное мѣсто въ писателѣ возвышаетъ душу твою; когда вдыхаетъ ей о себѣ самой высокое понятіе, наполняя ее удовольствіемъ к нѣкоторымъ родомъ благородной гордости; называй, говоритъ Лонгинъ, смѣло сіе мѣсто высокимъ. Но кто не довѣряетъ своему чувствію; кто родился съ духомъ философическимъ, любящимъ все разрѣшать и дробить, и съ симъ духомъ истины и очевидности, который не хочетъ покупать самыхъ удовольствій цѣною обмана, и не соглашается быть счастливымъ безъ видимой причины: для душъ сего рода въ самой природѣ высокаго

мы открыли надежныя правила судить о немъ. Когда понятія изображаютъ вещи, имѣющія въ себѣ великую обширность и пространство, принимая слова сіи въ самомъ простомъ и обыкновенномъ значеніи, соединенныя съ простотою, или, по крайней мѣрѣ, когда они по близкимъ причинамъ и послѣдствіямъ вяжутся съ ними: тогда безошибочно можно утверждать, что сіи понятія вмѣщаютъ въ себѣ нѣчто высокое. Истину сего правила оправдываютъ всѣ доселѣ приведенныя нами правила.

2. Труднѣе поддержать высокое, нежели его произвесть. Ибо производитъ его природа, а поддерживаетъ искуство. Самые великіе ораторы часто падали со всей ихъ высоты: между тѣмъ однакожъ разстояніе между ими и умами посредственными тѣмъ не менѣе чувствительно; понеже въ самомъ паденіи ихъ видна нѣкая гордость и благородство. Не трудно примѣтить, что сіе состояніе низкости имъ неестественно, и сходя съ него, они, кажется, низводятъ съ собою часть своего достоинства, подобно симъ великимъ Государямъ, кои подъ самою простою одеждою сохраняютъ извѣстный видъ благородства, неотдѣлимый отъ истиннаго величія. Кажется, они падаютъ не потому, чтобъ силы ихъ имъ измѣнили, но понеже предметъ не можетъ сдержать всего напряженія ихъ думы; не потому, чтобъ воображеніе ихъ вдругъ погасло, но понеже, объяты священнымъ забвеніемъ, они не предвидѣли, что ма-

терія, служившая пищею ихъ огню, сгараетъ,—понеже не могли умѣрить стремленія своего постепенно. Напротивъ, когда природа, или случай, изъ сожалѣнія, или по ошибкѣ, влагаетъ въ уста малыхъ ораторовъ что нибудь великое; они чувствуютъ всю тяжесть его, и, подавленные ею, падаютъ для того, чтобъ никогда не возстать и вѣчно пресмыкаться въ посредственномъ. Ибо посредственное всегда было стихіею низкихъ умовъ.

3. Нѣтъ ничего столь смѣжнаго съ высокимъ, какъ напыщеніе. Между тѣмъ однакожъ легко можно отличить сіе мнимое воспареніе ума отъ истиннаго возвышенія. Высокое нераздѣльно соединено съ простотою, и ничто такъ непротивно напыщенію, какъ сія самая простота. Отдаленныя сравненія, принужденныя метафоры, тягостныя украшенія, чрезвычайныя гиперболы, и все, что несовмѣстно съ простымъ и естественнымъ, есть существенно напыщенію. Это есть любимый тонъ умовъ, коими воображеніе управляетъ, и въ коихъ между нимъ и разсудкомъ нѣтъ должнаго равновѣсія. Не находя, или не видя предметовъ довольно великихъ къ тому, чтобъ занять его, они увеличиваютъ малые и, измѣряя пространство ихъ пространствомъ своего воображенія, они всегда разширяютъ, и такимъ образомъ разрывая естественную связь и размѣръ вещей, все дѣлаютъ уродливымъ и на себя непохожимъ. Отсюда происходитъ, что и самые тѣ, въ

коихъ наилучше дѣйствуетъ разсудокъ, впадаютъ не рѣдко въ напыщеніе. Когда энтузіазмъ сочиненія уноситъ изъ виду ихъ природную мѣру вещей, или когда умъ не можетъ представить довольной пищи распаленному ихъ воображенію: подобно пламени, оно разливается тогда во всѣ страны, и выступивъ изъ своихъ предѣловъ, обнимаетъ самые отдаленнѣйшіе предметы, переходя съ непостижимою быстротою по непримѣтнѣйшимъ связямъ вещей, сливаетъ наиразнороднѣйшія понятія. Впрочемъ, истинная причина напыщенія есть недостатокъ вкуса въ естественномъ, и прихотливость ума, не довольствующаяся простымъ и влекущая ко всему чрезвычайному.

О ИСТОЧНИКАХЪ ВЫСОКАГО.

Нѣтъ ничего, что бы больше отличало великіе умы отъ умовъ обыкновенныхъ, какъ образъ ихъ мысли. Кажется, природа дала имъ совсѣмъ другіе органы чувствованія, другое сердце, другой родъ понятій; словомъ, кажется, вокругъ ихъ существуетъ особенный міръ. Всѣ мелкія предметовъ отношенія предъ ними изчезаютъ; все недостойное занимать ихъ вниманіе, кажется, нарочно отъ нихъ укрывается. Ихъ очи созданы только для того, чтобъ видѣть великое; и тамъ, гдѣ обыкновенный глазъ тупѣетъ и теряется, ничего не постигая, они сквозь нѣкое волшебное стекло различаютъ тысячу пред-

метовъ великихъ. Сопряженіе обстоятельствъ, въ коихъ умъ посредственный ничего не находитъ чрезвычайнаго, отверзаетъ богатую жилу ихъ изобрѣтательной силѣ, и мысль простая раждаетъ въ нихъ множество мыслей великихъ. И сей-то образъ взирать на вещи съ высочайшей точки зрѣнія и мыслить объ нихъ благородно и глубоко, есть основаніе высокаго со стороны нашея души. Примѣчено, что великія мысли по большой части выходили изъ устъ великихъ человѣковъ. Александру предлагаютъ полъ–Азіи съ богатыми дарами, въ цѣну мира: «Я бы согласился на сіе, говоритъ его любимецъ, если бы я былъ Александромъ.» «Да, и я бы то же сдѣлалъ, отвѣчаетъ герой, если бы я былъ Парменіономъ.» Надобно быть Александромъ, — примѣчаетъ Лонгинъ,—чтобъ дать сей глубокой и благородной отвѣтъ.

Отсюда происходитъ, что въ то же самое время, когда великія дѣянія возвышаютъ славу государства, великія мысли обогащаютъ исторію разума человѣческаго. Не тогда, какъ гордый Римъ преклонялъ величественное чело свое предъ стѣснителемъ своей свободы, и какъ тою же самою побѣдоносною рукою, которая обыкла разить народы, срывать короны съ Государей, и давать законы изумленному свѣту, воскурялъ съ подлымъ униженіемъ свой ѳуміамъ предъ истуканомъ деспотизма; не тогда, какъ міръ въ оковахъ стенялъ, сдавленъ

ужаснымъ колоссомъ тиранства и гордости; — не тогда видимы были въ словѣ сіи пламенныя черты чувствія и силы, кои разятъ умъ и восхищаютъ душу. Нѣтъ! сей небесный огнь не возгарается въ душахъ рабскихъ и подлыхъ; онъ не находитъ себѣ въ нихъ пищи; ему надобны души твердыя и не робкія, рѣшенныя на все, и могущія скорѣе презрѣть жизнь, нежели добродѣтель; ему надобенъ сей Муцій, что неробкою ногою вступаетъ одинъ съ своимъ мечемъ въ непріятельскій станъ, ищетъ вонзить его въ сердце царя, и единымъ ударомъ отмстить за цѣлый Римъ.—Ему измѣняетъ счастіе. Онъ пойманъ, и ведется предъ судилище тирана. Но кажется, сама природа перемѣняетъ для мужества свои законы. Муцій въ оковахъ, Муцій среди непріятелей, готовая жертва тысячи мечей, простертыхъ надъ его главою,–Муцій внушаетъ къ себѣ болѣе ужаса, нежели сколько самъ трепещетъ. Не унизится ли сія гордая душа въ сихъ тѣсныхъ обстоятельствахъ? не будетъ ли искать оправданій? не положитъ ли просить пощады? нѣтъ! онъ хочетъ заставить себя уважать. «Я Римской гражданинъ, говоритъ онъ; узнайте во мнѣ Муція. Моя рука была простерта къ убійству. Я не трепещу смерти, такъ какъ не трепеталъ, вознамѣрясь убить тебя. Знай, что Римляне умѣютъ разить и умирать. Romanus sum civis, Mutium vocant; hostis hostem occidere volui. Nec ad mortem minus animi est, quam fuit ad cædem; et

facere et pati fortia Romanum est.» То, что наиболѣе даетъ возвышенія сей рѣчи, это есть непоколебимый характеръ героя, коего душа, объятая великими понятіями славы, забываетъ, кажется, чувствовать все другое, и въ семъ священномъ энтузіазмѣ, съ непостижимымъ хладнокровіемъ кладетъ руку свою на огонь: «Знай, говоритъ сей мученикъ патріотизма Порсеннѣ, сколь мало дорожатъ всѣми болѣзнями тѣла тѣ, коихъ душа устремлена къ единой славѣ En tibi, ut sentias, quam vile sit corpus iis, qui magnam gloriam vident.»

И нѣтъ ничего простѣе, какъ сіе явленіе, столь часто примѣченное въ человѣческомъ разумѣ. Какимъ образомъ человѣкъ угнетенный можетъ возвыситься къ симъ великимъ понятіямъ, самое существо высокаго составляющимъ? Ему запрещено взирать на предметы возвышенные, и онъ для нихъ лишенъ зрѣнія. Великія сопряженія обстоятельствъ общественныхъ отъ него сокрыты. Въ семъ состояніи душа теряетъ сей родъ упругости, которая даетъ ей силу противустать внѣшнимъ устремленіямъ обстоятельствъ и сражаться со всѣмъ на нее нападающимъ. Заключенная въ тѣсномъ кругѣ первыхъ понятій, какъ можетъ она раздвигнуть его и занять все свое пространство, когда со всѣхъ сторонъ безпрестанное терпитъ отраженіе? какъ можетъ она проникнуть сквозь сіе мрачное облако предъувѣреній и лжи, которое непрестанно предъ

нею сгущаютъ? какъ можетъ она проникнуть до чистыхъ понятій истины и простоты, двухъ качествъ, неотдѣлимыхъ отъ высокаго?

Но когда великая ось правленія обращается въ нашихъ очахъ; когда сильныя пружины, дающія движеніе политической системѣ, предъ нами открыты; когда нѣтъ ничего въ обществѣ столь великаго, чтобы отъ насъ было скрыто: на какую высоту не восходятъ тогда наши понятія? чего не объемлетъ наше воображеніе? какое рвеніе, какая ревность не воодушевитъ оратора? и какъ можно не быть Демосѳеномъ, говоря противъ Филиппа, и защищая дѣло цѣлой Греціи?—И такъ неоспоримо, что надобно имѣть извѣстную твердость въ душѣ и возвышенный образъ мыслей, чтобъ произвесть высокое. Пространство, которое даетъ Омиръ своимъ изображеніямъ, Лонгинъ называетъ мѣрою его понятій; величіе Ахилла есть гордый памятникъ, воздвигнутый уму, доблести его воспѣвшему. И сіе есть первый источникъ высокаго со стороны нашей души.

ВТОРОЙ ИСТОЧНИКЪ ВЫСОКАГО, ИЛИ СИЛА ВООБРАЖЕНІЯ.

Надобно только припомнить, какія пособія пріемлетъ высокое отъ сильныхъ страстей и великихъ изображеній, и примѣтить связь, какую то и другое имѣетъ съ воображеніемъ, чтобъ понять содѣйствіе его въ семъ родѣ слова.

Въ самомъ дѣлѣ, какая сила воображенія потребна къ тому, чтобъ непрестанно передвигать предъ душею великія картины природы, снятыя съ возвышеннѣйшихъ ея видовъ; чтобъ, занимая совершенно умъ чувствіемъ высокаго, и не давая ему, такъ сказать, очувствоваться и возстать отъ удивленія, влещи почти насильно изъ движенія въ движеніе, изъ страсти въ страсть, изъ восторга въ восторгъ!

Отсюда происходитъ, что высокое чаще встрѣчается въ великихъ стихотворцахъ, нежели въ великихъ ораторахъ. Сіи послѣдніе часто должны умѣрять жаръ воображенія своего разсудкомъ, и никогда не давать всей свободы быстрому его полету. Но Поэзія, дщерь воображенія и страсти, не можетъ не дать ему въ твореніяхъ своихъ своевольной свободы. Оно владычествуетъ въ ней почти неограниченнымъ образомъ. Самый разумъ часто не смѣетъ прикоснуться къ блистательнымъ ея мечтамъ, боясь разрушить прелестное ея очарованіе. Но сія самая быстрота, сіе могущество воображенія, толико содѣйствующее къ высокому, если слишкомъ будетъ порывисто и насильственно, вмѣсто высокаго, произведетъ нѣчто чудовищное и на себя самого непохожее. Подобно бурному вѣтру, исторгающему сильные дубы съ корнемъ изъ земли, оно разрушитъ естественную связь великихъ понятій, разорветъ на части мысли по себѣ нераздѣлимыя, и представитъ все въ превратномъ видѣ. Чѣмъ

*

сильнѣе будетъ рвеніе его, тѣмъ паденіе его неизбѣжнѣе. Это ретивый и гордый конь, въ запальчивости своей перебѣгающій неизмѣримыя пространства, презирающій всѣ препоны, доколѣ неосторожнымъ размахомъ не падетъ въ лежащую на пути его пропасть.

ТРЕТІЕ ПОСОБІЕ ВЫСОКАГО, ИЛИ ЧТЕНІЕ.

То, что обыкновенно называютъ образомъ мыслей, не что другое есть, какъ образъ взирать на вещи всегда съ одной извѣстной стороны, утвержденной въ насъ привычкою. Я представляю Юнга въ срединѣ мрачной ночи, и при тускломъ свѣтѣ луны, когда все спитъ вокругъ его, блуждающа при гробницахъ; легкія тѣни умершихъ летаютъ предъ нимъ; томный гласъ его лиры вызываетъ, кажется, ихъ изъ ложъ, гдѣ онѣ опочивали; его воображеніе любитъ съ ними бесѣдовать. Отъ повтореннаго съ ними обращенія, умъ его пріемлетъ неизгладимый сгибъ на сію сторону; и съ сей минуты онъ на все взираетъ по отношенію къ смерти; все изображаетъ мрачными красками; и о чемъ онъ ни говоритъ, все отзывается въ немъ симъ хладнымъ и мертвымъ ужасомъ, присѣдящимъ праху умершихъ. И вотъ что мы называемъ образомъ Юнговыхъ мыслей!

Сей образъ мыслей хотя каждому принадлежитъ особенно, и установляется въ насъ мало по малу,

отъ стеченія многихъ и непримѣтныхъ случаевъ, не есть однакожъ недѣлимъ, и можетъ сообщенъ быть другимъ. Обращеніе есть родъ нравственной силы, передающей движеніе одного ума другому. Посредствомъ его мозгъ, какъ говоритъ Монтань, натирается мозгомъ, и мысли образуются мыслями; разности нечувствительно изчезаютъ; все пріемлетъ одинаковой видъ, и образъ мыслей дѣлается общимъ. Возьмите общество людей, живущихъ вмѣстѣ; вы скоро примѣтите извѣстное сходство въ ихъ разсужденіяхъ, въ самомъ оборотѣ ихъ словъ,—сходство, котораго вы тщетно будете искать, вышедъ изъ ихъ круга. И вотъ для чего говорятъ, что обращеніе все дѣлаетъ спискомъ, и стираетъ все оригинальное.

Чтеніе есть родъ обращенія. Подобно ему, оно нечувствительно вводитъ насъ въ мысли писателя; мы познаемъ духъ его, привыкаемъ къ обороту его выраженій, чувствуемъ съ нимъ, и сливаемъ, такъ сказать, свой умъ съ его умомъ. «Покажите мнѣ вашихъ друзей, говоритъ одинъ изъ древнихъ,—и я познаю ваши нравы.» Покажите ваши книги мнѣ, можно къ сему прибавить, и я опредѣлю родъ вашего просвѣщенія: ибо величайшій плодъ чтенія есть разверзать собственныя наши понятія, или давать случай имъ раздражаться.

Отсюда видно, сколь нужно чтеніе къ тому, чтобъ поддержать душу на высотѣ ея понятій. Великіе писатели раздѣляютъ, кажется, съ нами свой умъ, воз-

вышаютъ наше воображеніе, и мало по малу приучаютъ насъ видѣть и чувствовать, какъ видятъ и чувствуютъ они. Мы пріемлемъ нечувствительно образъ ихъ мыслей, и дѣлаемся въ состояніи имъ подражать: но подражать не что другое есть, какъ смотрѣть на вещи съ той же точки зрѣнія, съ которой смотритъ другой, и изображать ихъ такими красками, какими изображаетъ онъ (*). Тотъ, кого природа предоставила къ высокому, читая лучшіе образцы въ семъ родѣ, наполняется жаромъ соревнованія; онъ плачетъ, какъ плакалъ Кесарь при истуканѣ Александра, и какъ Корреджій, взирая на картины Рафаеля, забывъ себя, восклицаетъ: «И я, и я также живописецъ!» Но когда душа не движется при воззрѣніи на сіи чудеса разума человѣческаго; когда она не сожалѣетъ, что другой успѣлъ прежде ея ихъ произвесть: это значитъ, что природа не дала ей органа чувствовать высокаго. Надобно родиться Александромъ, чтобъ плакать о побѣдахъ Филиппа.

Я не могу совѣтовать для чтенія лучшаго образца въ родѣ высокаго, какъ Пророковъ, а особливо Давида. Говорилъ ли кто о вещахъ возвышеннѣйшихъ и изображалъ ли кто ихъ съ большимъ величест-

(*) Одну и ту же вещь Теренцій изображаетъ просто и во всей ея, такъ сказать, естественной наготѣ; Овидій даетъ ее видѣть въ тысячѣ другихъ; Виргилій представляетъ ее благородно и возвышенно; а Ломоносовъ проливаетъ на нее свой жаръ. Это значитъ, что всѣ, слѣдуя расположенію своего ума, да одну и ту же вещь взирали съ различныхъ сторонъ.

вомъ и силою, какъ они? Могущество Бога, Его гнѣвъ, Его мщеніе на преступниковъ, ничтожество человѣка, его злобы, представляютъ повсюду великія понятія, изображенныя во всемъ ихъ пространствѣ и одѣтыя во все великолѣпіе блистательныхъ сравненій. Величайшіе ораторы въ духовномъ словѣ образовали себя по симъ высокимъ подлинникамъ; и Ломоносовъ не безъ причины совѣтуетъ упражняться въ чтеніи церковныхъ книгъ. Онъ дозналъ сіе собственнымъ опытомъ. Въ немъ нетрудно примѣтить сильнѣйшія черты, занятыя въ Священномъ Писаніи. Вообще можно утвердить, что чтеніе Славяно-Россійскихъ книгъ даетъ слогу нѣкоторую твердость, важность и силу, которой тщетно мы будемъ искать въ другихъ пособіяхъ. Симъ окончимъ мы наши разсужденія о высокомъ. Соберемъ здѣсь въ одно мѣсто главныя ихъ мысли.

Существо высокаго состоитъ въ пространствѣ и простотѣ понятій. Удовольствіе, получаемое отъ сего рода мыслей, основано на лестномъ увѣреніи, какое, озирая ихъ, душа пріемлетъ о пространствѣ своихъ понятій. Высокое можетъ находиться въ изображеніяхъ, въ мысляхъ, въ страстяхъ и слогѣ. Пособія къ нему суть: 1) возвышенный образъ мыслей, 2) сильное воображеніе, и наконецъ 3) чтеніе великихъ образцовъ.

О ВКУСѢ ВЪ КРАСИВОМЪ.

Нѣтъ слова, котораго бы употребленіе было обширнѣе, какъ слово: *красивое*. Мы называемъ прекраснымъ все то, что намъ нравится. Но чтобъ ввесть болѣе точности въ наши мысли, мы назвали сіе общее понятіе красоты *изящнымъ*, и подчинили ссму слову какъ высокое, такъ красивое и простое. Для сегожъ самаго мы отсѣчемъ всѣ постороннія понятія и отъ слова: *красивое*, и, стѣснивъ его въ извѣстные предѣлы, дадимъ ему постоянный и непремѣнный смыслъ.

Раздѣленіе вообще изящнаго на три рода, т. е. на высокое, красивое и простое, кажется, указуетъ намъ сама природа. Въ одномъ мѣстѣ она небрежно бросаетъ цѣлую громаду земли; вѣчными снѣгами покрытыя рамена сего ужаснаго исполина, кажется, подпираютъ самое небо; черными облаками одѣянная глава его смѣется грому и бурѣ; съ его чела катятся цѣлыя рѣки, и въ страшной брадѣ его висятъ необъятныя глыбы каменистаго льда (*). Сей видъ представляетъ намъ огромность съ дикою простотою; онъ внушаетъ намъ нѣкій благого-

(*) Такъ описываетъ Виргилій Атлантъ. (Энеид. кн. IV, ст. 246).

.... Apicem et latera ardua cernit
Atlantis duri, cœlum qui vertice fulcit;
Atlantis, cinctum assiduè cui nubibus atris
Piniferum caput et vento pulsatur et imbri:
Nix humeros infusa tegit: tum flumina mento
Præcipitant senis, et glacie riget horrida barba.

вѣйный къ себѣ ужасъ, и мы называемъ его *высокимъ*. Въ другомъ мѣстѣ открываетъ она пространную равнину, раздѣленную небольшими холмами. Свѣжая зелень, косю они одѣты, пріятные цвѣты, коими они испещрены, извилины источниковъ, съ тихимъ журчаніемъ перебирающихся медленно по камнямъ,—все сіе вливаетъ въ душу томную нѣкую задумчивость. Она видитъ здѣсь простоту, соединенную съ разнообразіемъ и соразмѣрностію, и называетъ сей видъ *пріятнымъ* или *красивымъ*. Наконецъ въ иномъ мѣстѣ природа, кажется, слагаетъ съ себя всѣ украшенія и представляется въ сей любезной наготѣ, гдѣ прелести ея тѣмъ болѣе привлекательны, что она не хочетъ, по видимому, ихъ казать, а открываетъ только по ошибкѣ, или по небрежности. Сей послѣдній видъ мы называемъ *простымъ* или *естественнымъ*.

На сіе мы дѣлаемъ слѣдующія примѣчанія:

1) Говоря о высокомъ, мы основаніемъ его положили простоту и обширность понятій. Разнообразіе и соразмѣрность не только не входятъ въ составъ его, но и вовсе съ нимъ несовмѣстны. Первое потому, что оно понятіе дробитъ и дѣлаетъ его малымъ; а второе потому, что вся великость предмета зависитъ отъ уродливаго и несоразмѣрнаго частей положенія. Напротивъ, красивое безъ разнообразія и соразмѣрности существовать не можетъ.

Когда пр́едметъ будетъ слишкомъ простъ, вниманіе души скоро притупится: одна часть, провождая ее ко всѣмъ другимъ, не оставитъ для нея ничего любопытнаго; не дастъ должнаго упражненія уму и оставитъ его въ бездѣйствіи. Чтобъ предупредить сіе состояніе, скучное для души, потребно, чтобъ предметъ привязывалъ ее къ себѣ, упражняя ея умъ, представляя ей различные виды и стороны, и разнообразіемъ своимъ замѣняя новость.

2) Но сіе самое разнообразіе, вмѣсто того, чтобъ быть началомъ удовольствія, содѣлается началомъ скуки, коѓда понятія будутъ слишкомъ разнородны, когда не будетъ въ нихъ должнаго равенства, и переходъ между ими будетъ слишкомъ чувствителенъ. Душа представленіемъ малымъ располагается къ предс́тавленію подобному же: но когда вмѣсто его встрѣтитъ она понятіе великое, то, не-пріуготовивъ, такъ сказать, напередъ въ себѣ для него мѣста, не въ состояніи будетъ вдругъ развернуться и его вмѣстить, или должна будетъ себѣ сдѣлать родъ насилія и обидѣть свое самолюбіе. И такъ понятія должны имѣть еще извѣстный размѣръ или равенство, дабы замѣнить простоту и вмѣстѣ быть разнообразными.

Такова есть теорія краснваго вообще. Приложивъ ее къ слову, мы откроемъ два правила, существенныя сему роду письменъ.

1. Наука писать красиво вся почти разрѣшается на науку перемѣнять съ искусствомъ понятія, представлять предметъ съ различныхъ лестныхъ сторонъ, и избѣгать сего скучнаго единообразія, сего рода монотоніи, все настроивающей на одинъ голосъ и всему дающей одинаковой видъ.

2. Понятія, входящія въ родъ письменъ красивыхъ, должны быть правильны и имѣть между собою извѣстный размѣръ или близкое отношеніе. Въ высокомъ простительно, и даже похвально иногда бываетъ, подняться вдругъ выше обыкновеннаго, и порывистымъ ходомъ возвыситься и низойти, не наблюдая ни правилъ, ни степеней: но въ красивомъ наше шествіе должно быть ровно, и сіи забѣги, сіи отважныя уклоненія, сіе презрѣніе правильнаго, не имѣютъ здѣсь мѣста.

Наконецъ, сей родъ слова, примѣчаетъ Цицеронъ, не имѣя ни силы, ни огня потребнаго въ высокомъ, можетъ быть одѣянъ во всѣ украшенія искусства. Здѣсь съ приличіемъ могутъ употреблены быть всѣ легкіе, тонкіе и пріятные обороты словъ и мыслей. Uberius est aliud genus dicendi, aliquantoque robustius, quam humile, submissius autem quam illud amplissimum. Hoc in genere nervorum ut minimum, suavitatis est ut plurimum; est enim plenius, quam hoc enucleatum, quam autem illud ornatum copiosumque, submissius. Huic omnia ornamenta dicendi conveniant plurimumque est in hac orati-

onis forma suavitatis, in hoc verborum cumulo lumina omnia, multæ etiam sententiarum. Est enim quoddam etiam insigne et florens orationis, pictum et expolitum genus, in quo omnes verborum, sententiarum illigantur lepores. Orator. 91—95—36. Ни въ какой части витійства наука не имѣетъ такой силы, какъ въ сей; и еслибы сей родъ слова могъ составить оратора, то справедливо бы можно было сказать, что *poëtæ nascuntur*, а *oratores fiunt*. Но мы давно уже примѣтили, что сіи красоты средняго рода служатъ только оправою истинному витійству: ибо, выключая одинъ видъ нѣжнаго, никогда онѣ не проходятъ къ сердцу, а только скользятъ по его поверхности. Естественное ихъ предустановленіе есть просвѣщать умъ: а театръ, гдѣ наилучше могутъ онѣ блистать, есть Философія. Красивое, такъ какъ и высокое, можетъ находиться въ мысляхъ, въ страстяхъ, въ изображеніяхъ и словахъ.

О КРАСИВОМЪ ВЪ МЫСЛЯХЪ, ИЛИ О ТОНКОСТИ И ГЛУБОКОСТИ МЫСЛЕЙ.

Есть въ мысляхъ извѣстная цѣпь, коею онѣ вяжутся между собою. Когда, держась сей цѣпи, мы перебираемъ по порядку каждое ея звено, и ступая медленнымъ шагомъ, отъ предъидущаго всегда переходимъ къ ближайшему: тогда мы мыслимъ просто и естественно. Но часто случается, что сіи части мыслей бываютъ поставлены столь близко

между собою, что, остановившись на одной, можно видѣть съ нея множество послѣдующихъ. Сіе множество мыслей послѣдующихъ, связанныхъ тѣсно между собою и зримыхъ удобно съ одной предыдущей, я называю мыслями *средними*. Искусство писателя состоитъ въ томъ, чтобъ съ главной мысли, пропустивъ всѣ сіи среднія, на пути его лежащія, ступить прямо къ той, коею начинается другой горизонтъ зрѣнія. Я объясню примѣромъ. «Философъ, говоритъ Руссо, слишкомъ разуменъ къ тому, чтобъ быть счастливымъ.» Тонкость сея мысли зависитъ отъ того, что всѣ среднія понятія между *разуменъ* и *счастливъ* здѣсь опущены. Чтобъ сдѣлать ее простою, надобно только ихъ открыть, и когда они будутъ открыты, мысль предложится слѣдующимъ образомъ: философъ смотритъ на все его окружающее съ истинной точки зрѣнія; видитъ всю пустоту удовольствій свѣта; открываетъ тысячу вкругъ себя золъ; вѣситъ мнѣнія и, изображая ихъ словами, находитъ, что корысть правитъ всѣмъ; онъ перецѣниваетъ свои страсти, и страсти другихъ; измѣряетъ съ точностію пользы, коихъ отъ нихъ надѣяться можно. Вотъ понятія, кроющіяся въ словѣ: *разуменъ!* Понеже они сами по себѣ открываются; для того, опустивъ ихъ, писатель вдругъ приступаетъ къ *счастію;* чтобъ быть счастливымъ, надобно видѣть въ вещахъ однѣ только блистательныя стороны, и сокрыть всѣ оскорбленія; надобно не видѣть въ лю-

дяхъ, какъ только то, что они намъ кажутъ, т. е. надобно видѣть въ нихъ сей лоскъ учтивости и наружнаго доброжелательства, который наводитъ на всѣхъ обращеніе, и забыть между тѣмъ, что подъ сею пріятною личиною кроются души часто подлыя, злыя и всегда своекорыстныя. Всѣ сіи понятія замыкаются въ словѣ *счастливъ*, а потому, выпустивъ ихъ, мысли получатъ сей оборотъ: «Философъ слишкомъ разуменъ къ тому, чтобъ быть счастливымъ». Когда въ мысли, предложенной съ тонкостію, кроется важная истина: тогда мысль называется глубокою. Флоръ, описывая войну Македонскую, въ трехъ словахъ даетъ совершенное объ ней понятіе. «*Introisse*, говоритъ онъ, *victoria fuit*— надобно было только появиться, чтобъ одержать побѣду». Онъ одною чертою изображаетъ всѣ дѣла и всю жизнь Сципіонову, когда говоритъ о его младенчествѣ: Hic erit Scipio, qui in exitium Africæ crescit. Онъ даетъ вдругъ разумѣть и силу Римлянъ, и характеръ Аннибала, и положеніе вселенныя въ сихъ словахъ: Annibal profugus ex Africa hostem populo Romano toto orbe quærebat.

Часто тонкость мыслей держится на непримѣтномъ различіи двухъ словъ, кои съ перваго взгляду кажутся тожезначущими. Такъ тотъ же самый Флоръ всѣ ошибки Аннибаловы выражаетъ въ сихъ словахъ: Cum victoriâ posset uti, frui maluit. Здѣсь *uti* и *frui*, два слова близкія, но поставлен-

выя въ различномъ смыслѣ, дѣлаютъ всю тонкость мысли.

Изобильнѣйшій источникъ мыслей сего рода есть противуположеніе, или сіе мнимое противорѣчіе, которое, заставляя умъ соглашать двѣ мысли, по видимому, между собою противныя, занимаетъ его пріятнымъ образомъ. Такъ говорятъ: ничто такъ не связано между собою, какъ гордая наружность и низкая душа.

Удовольствіе, какое даютъ вкушать всѣ сіи мысли, основано на томъ, что онѣ упражняютъ умъ. Дополняя понятія, опущенныя писателемъ, мы, кажется, раздѣляемъ съ нимъ его дарованія, и часть его ума, кажется, переливается къ намъ. Отдавая справедливость ему, мы непримѣтно хвалимъ себя самихъ; и когда говоримъ, что онъ мыслитъ тонко, всегда подразумѣваемъ: «такъ какъ и мы.» Отсюда происходитъ, что надежнѣйшій способъ нравиться, есть—не столько мыслить и говорить самому, сколько заставить мыслить и говорить другихъ. Писатель долженъ бросить, если можно такъ сказать, только сѣмена мыслей, а раскрыть ихъ и привесть въ зрѣлость, должно оставить читателю. Ибо люди, примѣчаетъ одинъ остроумъ, не иначе соглашаются признать въ насъ дарованія, какъ когда предоставлена имъ будетъ честь открытія. Отсюда такъ же происходитъ, что мы чувствуемъ скуку и родъ усталости, читая сочиненія, въ конхъ писатель, не-

реходя медленно изъ понятія въ понятіе, не ведетъ насъ за собою, но слѣдуетъ за нами издалека. Творенія сего рода занимаютъ только низшую способность души, способность понимать вещи, между тѣмъ какъ связь и отношеніе, единственный предметъ ума, поставлены столь близко между собою, что онъ не находитъ въ нихъ себѣ упражненія и ничего не дѣлаетъ, ибо ничего не вноситъ собственнаго. Такимъ-то образомъ хотѣть сказать все есть вѣрный способъ не сказать ничего.

Сей скучной и тяжелой ясности противуполагается излишнее мыслей утонченіе. Величайшее искусство писателя состоитъ въ томъ, чтобъ знать, сколько нужно опустить понятій, сколько ихъ замыкается въ одномъ, и сколько читатель можетъ въ немъ подразумѣвать. Онъ долженъ съ вѣрностію и, такъ сказать, со счетомъ всѣ ихъ передать другому. Если онъ опуститъ менѣе, нежели сколько содержится въ главномъ понятіи, онъ будетъ скученъ; онъ будетъ слишкомъ ясенъ. Если онъ опуститъ ихъ болѣе, и съ главной мысли ступитъ на другую, слишкомъ отдаленную; если онъ принудитъ читателя угадывать себя; если будетъ почитать себя остроумнымъ потому только, что много требуется ума, чтобъ его разумѣть:—tum scilicet ingeniosi, si ad intelligendos nos opus sit ingenio,—онъ опять будетъ скученъ, ибо будетъ слишкомъ тонокъ.

Примѣчено, что сія излишняя тонкость всегда прѐдвозвѣщала скорое паденіе письменъ. Когда великіе писатели займутъ всѣ роды красотъ; когда, такъ сказать, изчерпаютъ все богатство языка; когда Цицероны, Виргиліи и Гораціи возвысятъ слово до послѣдней точки совершенства: тогда умамъ послѣдующимъ не останется ничего болѣе, какъ, или подражать имъ, или искать новыхъ путей, и, понеже всѣ истинные источники витійства заняты, почерпать изъ ложныхъ, играть словами, утончать мысли, все противополагать, изъ всего дѣлать эпиграммы; словомъ, тогда бываетъ время раждаться Сенекамъ или Плиніямъ. Первый обширныя дарованія, блистательной умъ, глубокія свѣдѣнія,—все затьмилъ, вездѣ ища тонкости, вездѣ отступая отъ природы, вездѣ сражая, такъ сказать, мысль съ мыслію. Velles cum ingenio, говоритъ Квинтиліанъ, suo dixisse, iudicio alieno. Сіи пороки тѣмъ опаснѣе, чѣмъ болѣе они въ немъ прелестны. In eloquendo corrupta pleraque atque eo perniciosissima, quod dulcibus abundat vitiis. Панегирикъ втораго Траяну всегда будетъ образцемъ мыслей тонкихъ, выраженій остроумныхъ, слога чистаго, но вкуса повреждающагося.

Знатоки примѣчаютъ, что сей остатокъ издыхающаго уже Римскаго витійства былъ бы гораздо лучше, если бы не столь былъ совершенъ, если бы не столько каждое слово было обработано, если бы

украшенія были разсыпаны не такъ рачительно, если бы оставлены были въ немъ нѣкоторыя легкія небрежности, обнажающія природу и скрывающія искусство, словомъ, если бы творецъ его не такъ заботливо старался показать свой умъ и не такъ утончалъ мысли.

(Caput X.) Dii coelo iudicaverunt, ne quid post illud divinum et immortale factum, mortale faceret. Deberi quippe maxime operi hanc venerationem, ut novissimum esset, auctoremque prius statim consecrandum, ut quandoque inter posteros quæreretur, an illud iam deus fecisset. Нерва, усыновивъ Траяна, скоро потомъ умеръ. Произшествіе простое; и надобно ль сему искать причины? Плиній однакожъ ея ищетъ, и идетъ за нею въ небеса. Онъ говоритъ, что Нерва умеръ, или, какъ онъ говоритъ, вошелъ въ число боговъ, собственно для того, чтобъ послѣ столь безсмертнаго дѣянія, не учинить чего нибудь обыкновеннаго.

Сего еще не довольно; надобно что нибудь тонѣе, надобно было прибавить Плинію, что боги хотѣли симъ почтить дѣянія Нервы, и вмѣстѣ съ симъ заставить потомственные роды сомнѣваться, не богомъ ли уже будучи, онъ усыновилъ Траяна. Вотъ примѣръ излишняго утонченія; и вотъ въ чемъ уличаетъ Квинтиліанъ своихъ современниковъ! Nos melius, говоритъ онъ, quibus sordet omnia, quæ natura dicavit; qui non ornamenta, sed lenocinia quærimus.

О КРАСИВОМЪ ВЪ СТРАСТЯХЪ, ИЛИ О НѢЖНОМЪ.

Разсуждая о страстяхъ, могущихъ составить предметъ высокаго, мы примѣтили, что есть страсти столько же сильныя, какъ и сіи, но, по дѣйствіямъ своимъ надъ сердцемъ, совершенно отъ нихъ отличныя. Не воспламеняя крови, и не внося въ душу сего возмущенія, каковое производятъ великія страсти, онѣ колеблютъ ее сильнымъ, но пріятнымъ движеніемъ. Первыя раздираютъ сердце, а послѣднія его смягчаютъ; первыя даютъ душѣ родъ свирѣпости и рвенія, а вторыя заставляютъ ее лить слезы. Таковы суть: любовь, надежда, страхъ, жалость и пр. Къ изображенію страстей сего рода надобно имѣть кисть легкую, краски живыя, воображеніе томное. Ихъ дѣйствіе никогда столь сильно не бываетъ, какъ когда изъ нихъ многія собраны и подчинены одной главной.

Примѣръ изъ Виргилія (Georg. lib. IV).

Описаніе разлуки Орфея съ Эвридикою и его смерти есть одно изъ трогательнѣйшихъ мѣстъ въ Виргиліи. Я предложу кратко здѣсь и вмѣстѣ разберу сіе мѣсто.

Орфей и Эвридика горѣли взаимнымъ пламенемъ, и въ счастливомъ супружествѣ пріятные провождали дни. Аристей, сынъ Аполлона и Наяды Циренны, влюбляется въ Эвридику. Въ одно время, когда

она прогуливалась одна, вдругъ предстаетъ предъ нее Аристей и хочетъ похитить ее силою; она бросается отъ него и, въ страхѣ и возмущеніи, набѣгаетъ на ужаснаго змѣя, уязвляется и умираетъ; у Виргилія Протей такъ разсказываетъ самому Аристею сіе приключеніе.

457. Illa quidem, dum te fugeret per flumina præceps,
Immanem ante pedes hydrum moritura puella
Servantem ripas altâ non vidit in herbâ.

Видя смерть Эвридики, лѣсныя Нимфы завыли, и плачъ ихъ раздавался на горахъ. Вся природа, кажется, согласилась оплакивать ея смерть; самыя горы и источники Ѳракійскіе проливали по ней слезы, между тѣмъ какъ Орфей со стономъ лиры соглашая стонъ своего сердца,

Te dulcis conjux, te solo in litore secum,
Te veniente die, te decedente canebat.

Сей неожидаемый оборотъ рѣчи Протеевой къ Эвридикѣ, сіе многократное повтореніе особы, занимающей всю душу Орфея, сіе уединеніе, въ коемъ онъ во весь день оплакивалъ на лирѣ любезную свою Эвридику, — даютъ симъ двумъ стихамъ живость, страсть и нѣкоторой родъ томной и нѣжной унылости. Они въ малыхъ словахъ выражаютъ всю страсть Орфееву, открываютъ всю горесть, коею сердце его раздирается, и пріуготовляютъ къ послѣдующему. Обремененъ печалію и необрѣтающъ нигдѣ отрады, Орфей пріемлетъ отчаянное намѣреніе идти за

Эвридикою въ адъ, и молитъ Прозерпину, чтобъ ее ему возвратила. Tœnarias etiam fauces, и пр. Онъ сходитъ туда, и гласомъ своей лиры восхищаетъ тѣни, смягчаетъ самыхъ Фурій, усыпляетъ Цербера и умилостивляетъ Прозерпину. Ему позволяютъ возвратиться съ Эвридикою, но съ условіемъ, чтобъ на нее не озирался, доколѣ не выдетъ изъ ада.

Iamque pedem referens, casus evaserat omnes;
Redditaque Euridice superas veniebat ad auras,
Ponè sequens; namque hanc dederat Proserpina legem:
Cùm subita incautum dementia cepit amantem,
Ignoscenda quidem, scirent si ignoscere Manes.

Толико преодолѣвъ препятствій, *cum casus evaserat omnes;*—тогда какъ онъ думалъ, что совершенно обладаетъ своею любезною; тогда какъ всѣми лестными упоевался надеждами видѣть ее, лобызать, восхищаться: бездѣлка, одна неосторожность, *incautum*, и неосторожность очень простительная, *ignoscenda quidem, scirent si ignoscere Manes,* подрываетъ всѣ его надежды, разлучаетъ его съ Эвридикою, и когда же? *luce sub ipsa;* одинъ шагъ оставалося ему только сдѣлать, чтобъ выдти изъ ада. Несчастный не могъ удержать своего любопытства; взглянулъ, и бездна, разверзшись между ими, оторвала его вѣчно отъ Эвридики.

Restitit, Euridicenque suam iam luce sub ipsâ,
Immemor, heu! victusque animi, respexit: ibi omnis

Effusus labor, atque immitis rupta tyranni
Fœdera, tèrque fragor stagnis auditus Avernis.

Представивъ, что одинъ взглядъ разрушилъ надежды столь лестныя и столь близкія, умъ приходитъ въ унылое негодованіе; сердце стѣсняется, и чувствіе жалости проливается во всѣхъ его изходахъ. Слова, которыя Эвридика, разлучаясь съ Орфеемъ, говоритъ ему, пронзаютъ душу.

Illa: «Quis et me, inquit, miseram, et te perdidit, Orpheu?
Quis tantus furor? en iterum crudelia retro
Fata vocant, conditque natantia lumina somnus.
Iamque vale: feror ingenti circumdata nocte,
Invalidasque tibi tendens, heu! non tua, palmas.

Встревожена, удивлена, она не вѣритъ самой себѣ; она вопрошаетъ его: *Quis et me miseram et te perdidit, Orpheu?* И сіи глаза, плавающіе въ слезахъ, и покрывающіеся вѣчнымъ сномъ, *conditque natantia lumina somnus,* и сіе печальное, *прощай, Iamquè vale,* произнесенное въ послѣдній разъ и навсегда устами нѣжной любовницы, тѣми самыми устами, кои онъ готовился уже лобызать,—всѣ сіи понятія прямо идутъ къ сердцу; но то, что совершенно его раздираетъ, это есть образъ Эвридики, которая протягивая къ нему свои слабыя руки, хочетъ еще его обнять въ послѣдній разъ, и не можетъ. *Invalidasque tibi tendens, heu! non tua, palmas.* Два слова, *heu, non tua!* сіи два слова. . . но я ихъ не буду изъяснять.

Сказавъ сіе, Эвридика, какъ дымъ, изчезла. Орфей хочетъ ее обнять, хочетъ ей тысячу рѣчей въ послѣдніе сказать: но ея ужъ нѣтъ, и самая тѣнь ея отъ него скрылась. Что онъ долженъ предпринять? Уединенъ, мраченъ, сѣдящъ на скалахъ льдистыхъ Рифейскихъ горъ, онъ издавалъ на лирѣ томные звуки. Ѳракійскія жены предлагаютъ ему себя въ супружество; но, вѣренъ Эвридикѣ, онъ ихъ отвергаетъ. Презрѣнная любовь влагаетъ имъ жестокое намѣреніе мести; среди торжествъ, посвященныхъ въ честь Вакха, сіи неистовыя жены раздираютъ тѣло Орфея и разметываютъ по полямъ прекрасные его члены.

Inter sacra Deûm, nocturnique orgia Bacchi,
Discerptum latos iuvenem sparsêre per agros.

Но тогда какъ уже голова его была отторгнута отъ его тѣла и брошена въ рѣку, Эвридика была въ его устахъ.

Tûm quoque marmoreâ caput a cervice revulsum,
Gurgite cûm medio portans Oeagrius Hebrus
Volueret, Euridicen vox ipsa et frigida lingua,
Ah, miseram Euridicen, animâ fugiente, vocabat:
Euridicen toto referebant flumine ripæ.

Сей голосъ, уже изчезающій, сей хладный языкъ, и отлетающая уже душа, занимающаяся Эвридикою, повторяющая ея имя и сообщающая отголосокъ берегамъ рѣки, въ коей плавала сія глава, дѣлаютъ окончаніе сего трагическаго явленія трогательнымъ и разительнымъ.

Такимъ-то образомъ Виргилій, совокупивъ страсти нѣжныя, любовь, надежду, сожалѣніе, составляетъ изъ простаго приключенія наилучшее въ родѣ красиваго изображеніе.

О ВКУСѢ ВЪ ПРОСТОМЪ ИЛИ ЕСТЕСТВЕННОМЪ.

Отличительный характеръ слова простаго и естественнаго есть легкость, съ которою ораторъ предлагаетъ свои понятія. Сцѣпляясь видимымъ образомъ одно съ другимъ, они въ немъ между собою вяжутся, и продолженіе ихъ кажется однимъ только раскрытіемъ перваго. Ничто столь не близко къ природѣ, какъ сей родъ слова. Взгляните на нее; она съ небрежностію обнажаетъ свои красоты, и, кажется, съ умысла убѣгаетъ всего, что̀ можетъ представить видъ соразмѣрности и искусства.—Никогда не выказывая себя, и, кажется, стыдясь собственной своей лѣпоты, она даетъ видѣть прелести свои только потому, что забываетъ ихъ сокрыть, или, что не примѣчаетъ сей маленькой неосторожности. Подобно ей, писатель въ родѣ простомъ и естественномъ не разумѣетъ, кажется, своихъ пользъ, и скрываетъ себя, сколько можно, отъ взора читателей: онъ кажетъ имъ только матерію, которая сама собою, такъ сказать, предъ ними раскрывается, безъ всякаго его содѣйствія. Всѣ уловки искусства, все, что отзывается блескомъ ума, все, что имѣетъ видъ прилежанія и труда,—все сіе онъ

презираетъ. Свободною и гибкою кистію онъ пишетъ наудачу все, что ни попадается, и между тѣмъ онъ столько счастливъ, или лучше, столько искусенъ, что ничего ему не попадается, кромѣ прекраснаго. Онъ дѣлаетъ иногда странныя отступленія, и водитъ за собою читателя по мѣстамъ пріятнымъ, но отъ главнаго предмета далеко отстоящимъ: между тѣмъ, однакожъ, самыя сіи отступленія непримѣтнымъ образомъ входятъ въ главный его планъ и составляютъ существенную его часть. Сей родъ слова сливается съ двумя прочими и умѣряетъ ихъ. Но мѣсто, собственно ему принадлежащее, суть повѣствованія и изображенія тихихъ страстей.

Въ повѣствованіяхъ видъ чистосердечія и свободы, видъ его отличительный, возвышаетъ вѣрность приключенія, и приближая его, откровенностію своихъ словъ, къ сердцу, заставляетъ насъ принимать участіе въ самыхъ мелкихъ его подробностяхъ. Теренцій, одинъ изъ наилучшихъ образцовъ въ словѣ простомъ,—писатель, которому древніе и новѣйшіе единогласно отдаютъ справедливость въ изображеніяхъ естественныхъ, который наилучше умѣлъ входить въ характеры людей и рисовать нравы каждаго точнѣйшими чертами, — Теренцій вводитъ въ комедіи своей Heautontimorumenos старика Менедема, такъ разсказывающаго причины, для коихъ онъ перемѣнилъ образъ своей жизни:

Filium (говоритъ сей старикъ) unicum adolescentulum,

Habeo. Ah! quid dixi, habere me? imo habui, Chreme:
Nunc habeam, nec ne, incertum est.
Est e Corintho hìc advena anus paupercula.
Eius filiam ille amare cœpit perdite,
Prope iam ut pro uxore haberet. Hæc clam me omnia.
Ubi rem rescivi, cœpi non humanitus,
Neque ut ægrotum animum decuit adolescentuli,
Tractare, sed vi et via pervulgata patrum,
Quotidie accusabam.

Здѣсь бы можно было остановиться; ибо въ сихъ словахъ довольное уже дано понятіе о жестокости, съ которою онъ поступилъ съ сыномъ; но старикъ предается безъ принужденія теченію своихъ мыслей и приводитъ самыя слова, которыя говорилъ онъ тогда сыну:

Men. Tibi ne hæc diutius
Licere speras facere me vivo patre,
Amicam ut habeas prope iam in uxoris loco?

Erras, si id credis, et me ignoras, Clinia! (Такъ назывался его сынъ.)

Ego te meum esse dici tantisper volo,
Dum, quod te dignum est, facies: sed si id non facis,
Ego, quod me in te sit facere dignum, invenero.
Nulla adeo ex re istuc fit, nisi ex nimio otio.
Ego istuc ætatis non amori operam dabam,
Sed in Asiam abii hinc propter pauperiem, atque ibi
Simul rem et gloriam armis belli reperi.

Сіи-то излишки и отступленія наиболѣе отличаютъ слово простое и естественное. Менедемъ продолжаетъ:

Adolescentulus,
Sæpe eadem et grauiter audiendo victus est:
Aetate me putavit et sapientia
Plus scire, et providere, quam se ipsum sibi.
In Asiam ad regem militatum abiit, Chreme.
Clam me profectus, menses tres abest.
Ubi comperi ex iis, qui ei fuere conscii;
Domum revertor mœstus, atque animo fere
Perturbato atque incerto præ ægritudine,
Assido: accurrunt servi, soccos detrahunt,
Video, alios festinare, lectos sternere,
Cœnam apparare: pro se quisque sedulo
Faciebant, quo illam mihi lenirent miseriam.

Сія развязная и непорядочная рѣчь: assido, accurrunt servi, сообщая повѣствованію живость и свободу, даетъ ему однакожъ пріятность, которой въ рѣчи выработанной и тонкой тщетно мы будемъ искать.

Ubi video hæc, coepi cogitare: hem! tot mei
Solius solliciti sunt causa, ut me unum expleant?
Ancillæ tot me vestiant? sumptus domi
Tantos ego solus faciam! sed natum unicum,
Quem pariter uti his decuit, aut etiam amplius,
Quod illa ætas magis ad hæc utenda idonea est,
Ego eum hinc eieci miserum injustitia mea!

Среди сей заботливости домашнихъ, толпящихся вкругъ старика, чтобъ его утѣшить, мысль, что сынъ его не раздѣляетъ сихъ съ нимъ услугъ, огорченной нѣжной его душѣ встрѣчается очень естественно. Обнаженный и простый образъ, въ коемъ ее онъ представляетъ, есть тотъ же самой, въ коемъ она въ умѣ его родилась.

Malo quidem me dignum quovis deputem,
Si id faciam; nam usque dum ille vitam illam colet
Inopem, carens patria ob meas iniurias,
Interea usque illi de me supplicium dabo,
Laborans, querens, parcens, illi serviens.
Ita facio и пр.

Въ изображеніи тихихъ страстей, какъ-то сожалѣнія, любви и проч., а особливо въ изображеніи ихъ историческомъ, гдѣ требуется только открыть самыя непримѣтныя движенія души, ничто столько не трогательно, какъ языкъ простой и естественной. Это языкъ самаго сердца; оно разумѣетъ его совершенно. Ему тогда кажется, что видитъ собственныя свои чувствія, и не читаетъ сочиненія другаго, но чувствуетъ движенія собственныя свои. Я приведу на сіе нѣсколько примѣровъ. (Чтеніе изъ Дѣтской Библіотеки.) Цицеронъ, изображая своего оратора въ родѣ естественномъ, между отличными его свойствами полагаетъ видимую удобность писать такъ, какъ пишетъ онъ: Eum, quem audiunt, quamvis ipsi infantes sint, tamen illo modo confidunt se posse

dicere. Надобно рѣшиться самому писать, продолжаетъ онъ, чтобъ увѣриться, сколь трудно уловить тонкость красотъ, свойственныхъ сему роду слова. Nam orationis subtilitas imitabilis illa quidem videtur esse existimanti, sed nihil est experienti minus. Надобно родиться съ умомъ легкимъ, свободнымъ и могущимъ, не снимать только, но во мгновеніе ока срывать, такъ сказать, образцы вещей, и класть ихъ на бумагу, чтобъ успѣть въ семъ родѣ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ можно научиться презирать все, что имѣетъ видъ науки и искусства? какъ можно прилежать къ тому, чтобъ быть небрежнымъ? между тѣмъ, однакожъ, упражненіе можетъ дать нѣкоторыя пособія, если напередъ природа даетъ уму сей оборотъ; и если не можно учиться отъ другихъ быть естественнымъ, по крайней мѣрѣ можно отъ нихъ занимать пищу дарованію. Чтеніе древнихъ писателей въ сей части слова по справедливости предпочитается новѣйшимъ. Въ нихъ болѣе видно сей простоты, которая уменьшается, по мѣрѣ, какъ мы отходимъ отъ первобытнаго состоянія разума. Съ усовершенствованіемъ слова, вмѣстѣ усовершаются и понятія; мысли становятся тонѣе, выраженіе труднѣе; оригинальной видъ мало по малу стирается, все начинаетъ повторяться, старѣть, дѣлаться скучнымъ и терять отъ употребленія свою доброту; ищутся новые источники красотъ, и находятся не такъ легко и близко, какъ находились

прежде. Отсюда происходитъ, что образъ мыслей дѣлается сложнѣе, сочиненіе блистательнѣе, простота рѣже. Безъ сомнѣнія, новѣйшіе писатели въ твореніяхъ своихъ за образецъ красотъ пріемлютъ ту же самую природу и столько же ненавидятъ все, что выходитъ изъ ея круга; но они въ ней избираютъ мѣста для подражанія болѣе удаленныя отъ глазъ, и ихъ естественное не столько примѣтно. Чтобъ направить вкусъ къ нему, чтобъ видѣть его во всей его, такъ сказать, наготѣ, чтобъ найти изображенія, снятыя съ самыхъ простыхъ и обыкновенныхъ видовъ природы, — надобно читать древнихъ.

Тотъ ложныя имѣетъ понятія о рѣчи простой и естéственной, кто отличительнымъ ея признакомъ ставитъ—мыслить низко и слишкомъ обыкновенно, и выражать безъ напряженія и силы. Мысли самыя глубокія, выраженія самыя сильнѣйшія, могутъ между тѣмъ быть естественны; и сей родъ слова, et si non plurimi sanguinis est, говоритъ Цицеронъ, habeat tamen succum aliquem, oportet, ut etiamsi maximis illis viribus careat, sit, ut ita dicam, integra valetudine. И такъ, не слабость понятій составляетъ естественное, но легкость и свободный видъ, съ коимъ они предлагаются. Между тѣмъ, однакожъ, сей самый свободный и непринужденный видъ, сколько онъ ни существенъ простому, никогда не долженъ простираться до того, чтобъ превратиться въ по-

рочную вольность и нерадѣніе. Solutum quidem sit, nec vacuum tamen, ut ingredi libere, non ut licenter videatur errare. Цицеронъ прекрасно сравниваетъ сей родъ слова съ женщиною, которой красота новый получаетъ блескъ, когда она одѣта небрежно, и когда, не заботясь о украшеніяхъ, она съ безпечностію забываетъ сокрыть свои прелести. Nam ut mulieres esse dicuntur nonnullæ inornatæ, quas ad ipsum deceat; sic hæc subtilis oratio etiam incompta delectat: fit enim in utroque, quod sit venustius, sed non ut appareat. Но сколько сей родъ счастливой небрежности, или небрежности съ умысла, освѣщаетъ красоту, столько неопрятность и излишнее нерадѣніе ее затмѣваетъ. Первое не что иное есть, какъ то же самое искусство, умѣющее сокрыть самаго себя, или, по выраженію Туллія, diligens negligentia. Второе есть незрѣлой плодъ ума грубаго и необработаннаго: praecox fructus ingenii male limati atque politi. Постановивъ предѣлы слова простаго, намъ осталось показать, какимъ образомъ сей родъ вкуса можно разрѣшить на общее начало удовольствія и досады, и тѣмъ открыть вѣрное правило отличать его въ письменахъ.

Предлагая понятія, близко между собою связанныя, и выпуская очень мало мыслей посредствующихъ, рѣчь простая упражняетъ умъ, не дѣлая ему великаго напряженія. Легкой и свободной ея видъ заставляетъ насъ думать, что намъ стоило бы взять

перо, чтобъ написать такимъ же образомъ, а потому мы, поставляя себя тайно на мѣстѣ сочинителя, и не находя никакого между собою и имъ различія, дѣлимъ со всею справедливостію честь творенія, и читая его, думаемъ, что читаемъ собственное свое. Къ сему пріятному для насъ обману содѣйствуетъ его скромность, не позволяющая ему казать себя и давать чувствовать свои права на похвалу. Онъ оставляетъ предмету раскрывать ее самому собою, и тѣмъ каждому читателю даетъ свободу стать на праздное мѣсто сочинителя. Все сіе ласкаетъ намъ, и мы любимъ твореніе, напоминающее намъ, что подобное ему мы сами безъ труда могли бы произвесть. Съ симъ главнымъ и ласкательнымъ чувствіемъ сливается другое не менѣе лестное. Во всѣ времена люди трудъ и прилежаніе почитали, но любили всегда одно только дарованіе. Мы прощаемъ послѣднему тысячу погрѣшностей; но первое не иначе намъ нравиться можетъ, какъ поддерживая себя непрестанно и во всѣхъ частяхъ. Ибо все, что отъ него можно требовать, состоитъ только въ одной исправности и чистотѣ. Его проступки намъ кажутся неизвинительны; понеже за нихъ ни чѣмъ оно не можетъ заплатить. Въ рѣчи простой, кажется, говоритъ одно только дарованіе. Въ ней невидно ни искуства, ни труда. Прибавьте къ сему, что въ рѣчи простой, не видя болѣе ничего, какъ произведеніе, или лучше сказать, ходъ ума играющаго, легкаго

и свободнаго, мы заключаемъ, сколь велико должно быть его пространство, когда безъ намѣренія и, если можно такъ сказать, шутя, онъ мыслитъ такъ просто; и что бы онъ произвелъ, если бы напрягъ всѣ свои силы?

Таковы суть причины удовольствія, почерпаемаго нами въ твореніяхъ простыхъ. И симъ окончимъ мы наше разсужденіе о естественномъ.

УСОВЕРШЕНІЯ ВКУСА.

Разрѣшивъ вкусъ на простыя его начала, то есть, на чувствіе высокаго, красиваго и простаго, и показавъ въ предыдущихъ разсужденіяхъ причины его удовольствій, намъ осталось показать, въ чемъ состоитъ совершенство или доброта вкуса, и какимъ образомъ можно ея достигнуть.

Мы примѣтили, что вкусъ не что другое есть, какъ та же самая способность разсуждать, обращенная на предметы изящные; и какъ можно упражненіемъ усовершить чувствіе справедливаго, такъ можно привычкою утончить и чувствіе изящнаго. Если упражняя умъ въ раздѣленіи истины отъ заблужденія, мы постепенно его доведемъ до того, что съ перваго взору узнаетъ онъ все, что есть въ извѣстномъ предложеніи справедливаго, и видитъ цѣлую связь истинъ, которыя въ немъ кроются: то для чего бы, занимая его изящнымъ, не можно было со временемъ столько утончить, чтобъ онъ однимъ,

такъ сказать, прикосновеніемъ могъ измѣрить и степень удовольствія, какое душѣ должно сообщить извѣстное изображеніе или извѣстная мысль, и опредѣлить классъ, къ коему она относится? И сіе-то быстрое, нѣжное, тонкое, вѣрное чувствіе изящнаго въ вещахъ есть то, что мы называемъ добрымъ вкусомъ. И такъ доброта вкуса слагается: 1) изъ чувствительности, 2) тонкости или нѣжности, 3) вѣрности, и наконецъ 4) соразмѣрности или должнаго отношенія между собою началъ вкуса. Усовершеніе сихъ четырехъ способностей есть усовершеніе самаго вкуса. Мы будемъ разсуждать о каждой изъ нихъ особенно.

О ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВКУСА.

Чтобъ съ удовольствіемъ видѣть прекрасное и раздѣлять его отъ безобразнаго, надобно прежде чувствовать, надобно, чтобъ природа дала намъ сіе нѣжное осязаніе, надобно, чтобъ душа поражалась всѣмъ, что къ чувствамъ ни прикоснется; словомъ, надобна чувствительность. Ничто не можетъ замѣнить недостатокъ сей изящной способности. Умъ, могущій дробить наискорѣйшимъ образомъ свои понятія, пріобученный приводить ихъ въ мгновеніе ока къ своему началу, словомъ, умъ тонкій и проницательный не можетъ быть судьею въ дѣлахъ вкуса, когда онъ не имѣетъ извѣстнаго степени чувствія; ибо сколько бы Логика его ни была совер-

шенна, онъ не можетъ расплесть съ скоростію и проворствомъ всѣ нити удовольствій, которыя неизвѣстными путями проведены отъ предметовъ къ нашему сердцу, гдѣ онѣ всѣ связуются и всѣ кончатся. Вкусъ требуетъ, чтобъ мы чувствовали изящное съ жаромъ, съ быстротою; но можно ли его такъ чувствовать, когда мы при каждой его встрѣчѣ будемъ ходить совѣтоваться съ длинною связію умствованій, и не прежде позволимъ душѣ ощущать удовольствіе, какъ доказавъ, что оно основано на началахъ, съ существомъ ея сообразныхъ? Богъ вкуса даетъ Философіи свое мѣсто въ кругѣ изящнаго; но первый его любимецъ есть чувствіе. Къ его суду отсылаетъ онъ непосредственно дѣла свои; и въ однихъ только трудныхъ и спорныхъ обстоятельствахъ принимаетъ онъ въ совѣтъ къ себѣ философа. Я видѣлъ издали, когда былъ въ его храмѣ: онъ ласкалъ Аристотеля, держащаго въ рукѣ своей творенія о поэзіи, но въ то же время съ пріятною улыбкою онъ выговаривалъ сему тонкому уму, что онъ не вездѣ умѣлъ чувствовать, и если давалъ полезныя правила эпопеи, то это только потому, что уважалъ Омира; но Лонгинъ, коего философскій духъ снабженъ былъ живымъ и легко возгарающимся воображеніемъ, — Лонгинъ почивалъ на его лонѣ и былъ покровенъ его лобзаніями. Вотъ маленькое приключеніе, и вотъ чего не достаетъ, когда нѣтъ чувствительности.

*

Природа всѣмъ дала сѣмяна чувствительности; но не во всѣхъ равно они возрасли и созрѣли. Въ однихъ подавлены они грубостію воспитанія, несчастнымъ сопряженіемъ обстоятельствъ, суровымъ образомъ жизни; въ другихъ чувствіе, будучи обращено на предметы мелкіе, потеряло сію бодрость и силу, которая ему нужна къ тому, чтобъ принимать впечатлѣніе отъ предметовъ изящныхъ. Прибавьте къ сему, что чувствительность, можетъ быть, зависитъ отъ начальнаго строенія души и расположенія ея органовъ и это есть одна изъ тѣхъ способностей, которыя наименѣе могутъ быть усовершены привычкою.

Въ самомъ дѣлѣ, нетрудно примѣтить, что привычка притупляетъ чувствіе, не только его не изощряетъ. Чѣмъ болѣе мы смотримъ на предметъ изящной, тѣмъ красоты его поражаютъ насъ слабѣе, тѣмъ чувствительность наша становится тупѣе; и отсюда-то происходитъ, что чему глупые удивляются, то разумные безошибочно только одобряютъ: между тѣмъ однакожъ можно утверждать, что упражненіемъ она усовершается. Слѣдующія разсужденія пояснятъ сіе видимое противорѣчіе.

Привычка ослабляетъ чувствіе; но его предметы столько разнообразны, что, будучи упражняемо безпрерывно надъ различными красотами, оно доставляетъ тѣмъ себѣ родъ новости, не попускающей

ему млѣть и разслабляться. И такъ, чтобъ уничтожить сію ослабляющую силу привычки, надобно только противопоставить ей перемѣну въ предметахъ вкуса. Съ сей минуты вліяніе ея дѣлается неопасно. Но мы поступимъ далѣе, и покажемъ, что оно можетъ быть еще полезно.

Привычка сообщаетъ вкусу легкость и проворство въ обозрѣніи красотъ предмета. Тысяча есть вещей, которыя съ перваго взору убѣгаютъ отъ его разысканія. Первыя впечатлѣнія столько его занимаютъ, что онъ не имѣетъ силы разсмотрѣть всѣ части и открыть всѣ совершенства. Все онъ чувствуетъ вдругъ и ничего раздѣльно. Когда сіе толпящееся множество пораженій, съ теченіемъ времени и содѣйствіемъ привычки уменьшится; когда онъ будетъ взирать на вещь спокойнѣе; когда онъ ближе, такъ сказать, познакомится съ нею: тогда откроетъ въ ней новые источники удовольствій, найдетъ новую пищу чувствительности; и если каждую черту не будетъ онъ чувствовать столь сильно, какъ чувствовалъ въ первый разъ, то, въ замѣну сего, число красотъ для него будетъ увеличиваться, и составъ или сумма удовольствій останется въ душѣ непремѣнною. Отсюда происходитъ, что не можно никогда наскучить, читая творенія изящныя. Всякой разъ они кажутся новыми: и мы дивимся, что доселѣ не примѣтили въ нихъ красотъ, кои столь сильно поражаютъ.

И такъ упражненіе, сообщая намъ легкость понимать и соображать красоты, и дѣлая наши понятія обширнѣе и полнѣе, изощряетъ нашу чувствительность. Вотъ первое пособіе привычки. Второе пособіе, какое даетъ чувствію упражненіе, состоитъ въ томъ, что умъ нашъ привыкаетъ мало-по-малу обращать вниманіе свое на произведенія добраго вкуса и дѣлается къ нимъ чувствительнымъ. Безпрерывное упражненіе въ изящныхъ письменахъ для многихъ дѣлается господствующею страстію и, такъ сказать, физическою ихъ нуждою. Но есть умы столько же, можетъ быть, справедливые и вѣрные, которые не могутъ понять, какое люди находятъ удовольствіе во всемъ, что составляетъ предметъ вкуса. Это потому, что ихъ вниманіе отъ привычки получило оборотъ совсѣмъ другаго рода, и они не разумѣютъ совсѣмъ того языка, на коемъ говоритъ вкусъ; а потому могутъ ли быть къ нему чувствительны?

Третіе пособіе. Чѣмъ болѣе мы упражняемся въ предметахъ вкуса, тѣмъ болѣе собираемъ понятій, къ кругу его относящихся, и слѣдовательно тѣмъ удобнѣе ихъ соображаемъ. Но соображеніе, или возбужденіе прошедшихъ понятій, при видѣ настоящихъ, увеличиваетъ мѣру удовольствія, и тѣмъ самимъ изощряетъ чувствіе.

Совокупленіе всѣхъ сихъ причинъ дѣлаетъ, что чувствительность не только не притупляется отъ привычки, но еще новую получаетъ силу.

Есть родъ чувствительности слишкомъ нѣжной, слишкомъ гибкой, которую все поражаетъ, которая видитъ тамъ, гдѣ другіе не видятъ ничего, которая увеселяется часто мечтами и часто сражается съ призраками. Сія, такъ сказать, прихотливая чувствительность, не имѣетъ мѣста въ составленіи добраго вкуса, и избытокъ ея еще не менѣе противенъ, какъ и самой недостатокъ. Впрочемъ, я примѣчу, что она болѣе происходитъ отъ недостатка вѣрности во вкусѣ, нежели отъ начальнаго строенія души.

Изъ сихъ разсужденій видно, что хотя первое основаніе чувствительности полагаетъ въ насъ природа, между тѣмъ, однакожъ, довесть его до извѣстной высоты предоставлено упражненію. Любимцы природы, вы, которые получили отъ нея душу нѣжную и чувствительную! обратите вниманіе ея на предметы вкуса; дайте пищу ей; она безъ нея ослабѣетъ. Поддержите ее чтеніемъ изящныхъ твореній, или созерцаніемъ природы. Если вы не займете ее великимъ, она займется посредственнымъ и низкимъ; она разсыплется по предметамъ мелкимъ, или, не находя себѣ упражненія, и будучи, такъ сказать, сама собою слишкомъ полна, она выступитъ изъ своихъ предѣловъ, и сдѣлаетъ опасное наводненіе.

О утонченіи или нѣжности вкуса.

Второе качество, доброму вкусу необходимое, есть утонченіе или нѣжность.

Я называю вкусъ тонкимъ и нѣжнымъ, когда онъ чувствуетъ все, что есть сокровеннѣйшаго въ предметѣ, когда ничто отъ его осязанія избѣгнуть не можетъ.

Мы съ начала не видимъ въ вещахъ, какъ только тѣ красоты и недостатки, которые, такъ сказать, бросаются въ глаза. Цѣлая половина предмета отъ насъ сокрыта, и мы поражаемся только наружнымъ его образомъ; но привычка даритъ намъ стекло, чрезъ которое мы усматриваемъ самые тончайшіе оттѣнки изящнаго. Счастливъ, кто волшебное сіе стекло всегда при себѣ имѣетъ. Чѣмъ болѣе мы всматриваемся въ предметъ, тѣмъ первыя пораженія дѣлаются слабѣе и наконецъ почти изчезаютъ; душа приходитъ въ состояніе покоя, ищетъ новаго для себя упражненія; наружный образъ предмета, доселѣ ее занимавшій, дѣлается для нея слишкомъ простъ и скученъ; она проходитъ далѣе; проникаетъ сквозь его въ самую внутренность вещи и открываетъ новыя и сокровеннѣйшія ея свойства. Такимъ образомъ привычка и упражненіе дѣлаютъ ее разборчивѣе и приучаютъ, не останавливаясь на первыхъ и часто грубыхъ пораженіяхъ предмета, проходить къ отдаленнѣйшимъ и тончайшимъ.

Надобно только раскрыть исторію вкуса, чтобъ примѣтить сей ходъ разума человѣческаго въ изящномъ. Театръ Ѳесписа, коего все строеніе состояло въ простой колескѣ, на которой толпа грубыхъ комедіантовъ въ странной одеждѣ разъѣзжая по улицамъ, забавляла шутками и кривляньями зрителей; сей нескладной и уродливой театръ нравился Грекамъ, доколѣ они не имѣли еще ничего лучшаго; доколѣ Софоклъ и Эврипидъ не показали имъ Мельпомену во всемъ ея величествѣ, распаленную страстьми, съ кинжаломъ въ рукахъ, утопающую въ слезахъ; доколѣ творенія сихъ великихъ умовъ не научили сердце чувствовать и поражаться. Римляне равняли Эннія съ Гомеромъ, доколѣ не имѣли Виргилія: Ennius et sapiens et fortis, et alter Homerus. Они соглашались выучивать наизустъ Невія: Nevius in manibus non est et mentibus hæret pene recens; adeo sanctum est vetus omne poëma, — доколѣ не знали, что̀ такое будетъ Теренцій; они удивлялись Плавту: at vestri proavi Plautinos et numeros et laudavere sales, nimium patienter utrumque (ne dicam stulte) mirati; они удивлялись ему, доколѣ вѣкъ Августа не произвелъ всеобщаго переворота во вкусѣ, доколѣ умы перваго степени, составлявшіе блистательный его дворъ, не научили мыслить тонѣе и чувствовать нѣжнѣе, оставивъ по себѣ творенія, въ коихъ добрый вкусъ дышетъ еще и понынѣ, и коихъ жаръ не потухнетъ во вѣки.

Отличительный признакъ, что вкусъ совершенно утончился, состоитъ въ томъ, что мы дѣлаемъ въ умѣ нѣкоторое отвлеченное и Платоническое изображеніе изящнаго во всякомъ родѣ. Когда Аппеллесъ хотѣлъ представить Венеру, ни одна красота не могла служить ему образцомъ: ибо въ воображеніи его былъ образъ Венеры, далеко превосходящій все существующее. Чтобъ напечатлѣть сей образъ на полотнѣ, онъ долженъ былъ занимать отъ прекраснѣйшихъ наилучшее. Великіе ораторы образовали по сему правилу свой вкусъ. Не останавливаясь совершенно ни на одномъ образцѣ, они собирали отъ всѣхъ наилучшее, и сложивъ сіе наилучшее въ одно цѣлое, составляли образъ красоты совершенной, и съ нимъ сличая свои и другихъ творенія, постановляли безошибочно степень ихъ доброты, и назначали истинную ихъ цѣну. Въ семъ-то духѣ написалъ Цицеронъ своего оратора. Онъ снималъ, такъ сказать, съ воображенія своего образъ витіи, и, положивъ на бумагу, показалъ его Бруту. По сему-то образу судилъ онъ самаго Демосѳена, и прикладывая одного къ другому, находилъ, что онъ подходитъ близко къ совершенному, но вовсе его не достигаетъ. Ipse Demosthenes, quanquam unus eminet inter omnes in omni genere dicendi, tamen non semper implet aures meas: ita sunt avidæ et capaces et semper aliquid immensum infinitumque desiderant. То же самое говоритъ онъ и объ Антоніи: M. Antonius

disertos ait se vidisse multos, eloquentem omnino neminem; insidebat videlicet in eo species eloquentis, quam cernebat animo, re ipsa non videbat; multa et in se et in aliis desideraus, neminem plane qui certe appellari eloquens posset, videbat. Habuit profecto comprehensam animo quamdam formam eloquentis, cui quoniam nihil deerat, eos, quibus aliquid, aut plura deerant, in eam formam non poterat includere. Доколѣ сей образъ совершенства не утвердится въ умѣ, дотолѣ не можно судить съ вѣрностію о сочиненіи. И такъ необходимо нужно читать много и разрѣшать наилучшіе образцы, чтобъ пріобрѣсть сію тонкость вкуса. Но все имѣетъ свои крайности. Вкусъ можетъ столько утончиться, что отойдетъ отъ простаго и естественнаго,, и будетъ любить одно острое; а потому впадетъ въ принужденное и натянутое; вездѣ будетъ искать сокровенныхъ мыслей и quæret non ornamenta, sed lenocinia; мельчайшіе недостатки будутъ предъ нимъ неизвинительными пороками; онъ опорочитъ всѣ смѣлыя и отважныя выраженія, и будетъ искать вездѣ излишней точности и справедливости; онъ забудетъ Гораціево правило:

Ubi plura nitent, non ego paucis
Offendar maculis, quas aut incuria fudit,
Aut humana parum cavit natura.

Не число малыхъ погрѣшностей, которыхъ мы избѣжали, но число красотъ, которыя вмѣстили въ сочиненіи, должно полагать ему цѣну.

Другой видъ сего слишкомъ тонкаго или, такъ сказать, прихотливаго вкуса, состоитъ въ томъ, когда мы ищемъ красотъ отдаленныхъ, уловляемъ подобія непримѣтнѣйшія, вдаемся въ безпрерывныя противоположенія, о всемъ хочемъ говорить остро, и все говоримъ принужденно. Разсуждая о тонкости мыслей, я давалъ изъ Плинія примѣръ сего ложнаго утонченія вкуса.

Истинно тонкой вкусъ держитъ средину. Онъ не останавливается съ чернію на поверхности вещей, но и не проходитъ слишкомъ далеко во внутренность ихъ; словомъ, онъ видитъ все, что есть въ вещи видимаго, но не видитъ ничего, глазу непостижимаго.

О вѣрности вкуса.

Сего недовольно еще, чтобъ вкусъ былъ чувствителенъ и нѣженъ, тонокъ и проницателенъ; надобно, чтобъ онъ еще былъ вѣренъ.

Я называю вкусъ вѣрнымъ, когда онъ съ перваго прикосновенія умѣетъ постановить степень изящнаго въ предметѣ, отличить ложныя красоты отъ истинныхъ и отнесть ихъ къ извѣстному роду.

Сіе истинное совершенство имѣетъ свои предѣлы: за чертою, гдѣ оно кончится, начинается совершенство ложное. Чтобъ узнать сію черту и на ней остановиться, надобно имѣть вѣрный вкусъ. Но тѣсная смежность между истинными красотами и ложными безконечно затрудняетъ сіе дѣйствіе вкуса. Есть,

безъ сомнѣнія, великое различіе между жаркимъ и нѣжнымъ Виргилія, и порывистымъ Лукана, между высокимъ Пиндара, и напыщеннымъ его подражателей, между тонкимъ Цицерона и Горація и тонкимъ Сенеки и Плинія, между естественнымъ Теренція, и низкимъ Плавта, и наконецъ между красивымъ и разсвѣченнымъ, между смѣлымъ и чрезвычайнымъ, между яснымъ и простонароднымъ, между обильнымъ и излишнимъ, между краткимъ и сухимъ, между отрывистымъ и безпорядочнымъ: но бываютъ случаи, въ коихъ очень трудно постановить сіе различіе.

Часто холодная критика Гермогена опорочиваетъ мѣста въ Омирѣ, коимъ удивляется Лонгинъ. Самъ Цицеронъ даетъ иногда своему оратору ложные совѣты; похваляетъ ему красоты, кои другіе принимаютъ за одну пустую и ребяческую игру словъ.

Итакъ первое свойство вкуса твердаго и вѣрнаго есть отдѣлять всѣ поддѣланныя красоты отъ истинныхъ, и съ перваго прикосновенія, въ одномъ и томъ же сочиненіи, отличать блескъ искусства отъ природной доброты.

Второй признакъ сей вѣрности во вкусѣ состоитъ въ томъ, что онъ не только полагаетъ безошибочно цѣну твореніямъ, но еще опредѣляетъ степень ихъ доброты и относитъ ихъ къ извѣстному роду. Когда вкусъ не утвержденъ, тогда рѣшенія его бываютъ неопредѣленны; онъ все тогда называетъ прекрас-

нымъ, и, будучи не въ состояніи положить на вѣсы количество ихъ доброты, онъ не можетъ сравнить двухъ твореній, изъ коихъ каждое имѣетъ свою мѣру красоты (*).

Сверхъ того, хотя всѣ роды изящнаго производятъ удовольствіе въ душѣ, но сіе удовольствіе есть составъ многихъ чувствій. Чтобъ узнать владычествующее изъ нихъ, надобно ихъ разрѣшить на свои начала: и тогда-то уже въ сей, такъ сказать, связкѣ понятій можно будетъ найти начальную нить, и по ней дойти до главнаго качества предмета, а посему и опредѣлить родъ его изящества. Такимъ образомъ вѣрной вкусъ, по чувствію удивленія,—относитъ предметъ къ роду высокаго, по простотѣ и легкости,—къ естественному, по разнообразію и пріятности,—къ красивому.

Третій признакъ вкуса твердаго, признакъ отличительнѣйшій и всегда вѣрный, есть, когда онъ входитъ, такъ сказать, въ самой духъ писателя, знаетъ образъ его мыслей, разумѣетъ всѣ обороты его выраженій, понимаетъ его съ одного слова, и по тончайшимъ оттѣнкамъ вездѣ узнаетъ его кисть, вездѣ открываетъ его почеркъ. Сказываютъ, что у Рафаэля на картинѣ, въ отсутствіи его, провелъ двѣ черты Анжело, такъ что никто сего не примѣтилъ. Приходитъ Рафаэль; смотритъ на картину;

(*) Ut pictura, poesis . . Hæc, si propius stes, te capiet magis:
Judicis argutum quæ non formidat acumen.

спрашиваетъ, кто у него былъ? отвѣчаютъ: «никого». «Не правда! здѣсь былъ Анжело: вотъ двѣ черты его руки.» И вотъ образъ вѣрнаго вкуса! Сіе совершенство столь трудное и столь неоцѣненное въ словѣ, чтобъ узнать по слогу сочинителя, или по одному отрывку все сочиненіе, составляетъ окончательную и самую важную черту въ вѣрности вкуса.

Изъ сего видно, что сколько съ одной стороны нужно имѣть вѣрной вкусъ, столько съ другой трудно его пріобрѣсть. Единое пособіе къ сему есть твердость сужденія и извѣстной порядокъ въ чтеніи. Читать безъ разбора все, когда вкусъ не исправленъ, есть вѣрной способъ его испортить. Тогда какъ душа отворена еще, такъ сказать, всѣмъ пораженіямъ, тогда какъ еще не вся она наполнена однимъ изящнымъ,—все тогда на ней равно напечатлѣвается; красоты отливаютъ часть свѣта своего на недостатки, недостатки на пороки. Такимъ образомъ все дѣлается блистательнымъ; все свѣтитъ; и все насъ обманываетъ. Когда вкусъ не получилъ еще всей своей твердости, когда онъ можетъ еще принимать всѣ изгибы, все чувствовать и ничего не отличать; всѣ предметы имѣютъ тогда право его воспитывать, такъ сказать, и образовать. И когда съ одной стороны истинныя красоты его исправляютъ, ложныя въ тожъ время развращаютъ; и онъ сосетъ ядъ вмѣстѣ со млекомъ: а посему нѣтъ ничего опаснѣе для молодаго вкуса, какъ видѣть

красоты смѣшенныя съ несовершенствами. Ибо требуется извѣстная смѣлость, извѣстное довѣріе къ самому себѣ, чтобъ отважиться чувствовать скуку въ такомъ сочиненіи, которое въ нѣкоторыхъ мѣстахъ яркими и очень сильными прелестями насъ плѣнило. Мы соглашаемся лучше самыя слабости его принять за совершенства, нежели думать, что оно въ сихъ мѣстахъ упало. Сего недовольно: мы дѣлаемъ изъясненія, изыскиваемъ самый выгоднѣйшій смыслъ, напрягаемъ всѣ силы свои, чтобъ искуснѣе обмануть себя, и составляемъ въ умѣ способъ погрѣшать всегда по правиламъ. Вотъ для чего совѣтуютъ вообще, въ первыхъ чтеніяхъ, быть разборчивымъ, и избирать образцы, сколько можно, совершенные. Когда вкусъ будетъ ими направленъ; тогда безъ опасности можно дать ему всю свободу, пустить по всѣмъ мѣстамъ и позволить рвать розы среди самаго тернія.

О СОРАЗМѢРНОСТИ НАЧАЛЪ ВКУСА.

Изъ предыдущихъ разсужденій мы видѣли, что вкусъ доброй, вкусъ совершенной долженъ быть чувствителенъ, тонокъ и вѣренъ. Сіи три качества суть какъ бы три начальныя стихіи, изъ коихъ слагается добрый вкусъ. Сего однакожъ не довольно, чтобъ всѣ они въ составленіе его входили; надобно, чтобъ они входили по извѣстной мѣрѣ, чтобъ одно началу не перевѣшивало другихъ.

Въ самомъ дѣлѣ, положимъ, что начало чувствительности преизбыточествуетъ во вкусѣ, и два другія слабы: вкусъ будетъ всѣмъ поражаться, и ничего не будетъ чувствовать раздѣльно; понятія его будутъ столь живы и быстры, что онъ не въ силахъ будетъ ихъ остановить и разрѣшить; ему не возможно будетъ свѣсить красоты съ недостатками: ибо тѣ и другіе будетъ онъ чувствовать слишкомъ сильно. Одно и то же твореніе онъ будетъ хвалить и проклинать вмѣстѣ.

Если вкусъ слишкомъ тонокъ будетъ, вездѣ онъ будетъ искать красотъ сокровенныхъ и едва примѣчаемыхъ. Твореніе простое и естественное для него будетъ скучно. Онъ потребуетъ, чтобъ вездѣ были эпиграммы, вездѣ отдаленныя подобія, словомъ, чтобъ все было загадка.

Если вкусъ будетъ слишкомъ вѣренъ, онъ ничего не захочетъ отдавать на удачу. Онъ будетъ все дробить, все разрѣшать, и мало очень чувствовать. Раздробленіе и разсудокъ конечно нужны во вкусѣ; но живое чувствіе составляетъ самое существо его. Конечно, нужно опредѣлять степени красоты и роды изящнаго, но еще нужнѣе ихъ чувствовать. Недостатокъ соразмѣрности въ началахъ вкуса входитъ во всѣ виды вкуса ложнаго.—Аристъ говоритъ, что онъ созданъ къ великому; красивое и естественное его не поражаетъ. Гдѣ нѣтъ ни грому ни молній, гдѣ нѣтъ бурь и ужасовъ, гдѣ природа

не содрогается, тамъ Аристъ ничего не чувствуетъ. Представьте ему самыя трогательнѣйшія описанія нѣжныхъ страстей, самыя критическія положенія сердца; Аристъ скажетъ, что это бездѣлка, улыбнется, вздохнетъ и отойдетъ. Ему надобенъ гнѣвъ, ярость, мщеніе, бѣшенство страстей, въ ужасныхъ видахъ представленное; ему надобно, чтобъ все было покрыто священнымъ мракомъ, вездѣ были сраженія, дикое величіе природы, словомъ, нѣчто Оссіановское. Ему разъ должно было описать тихое, прекрасное Майское утро. Какая матерія для живаго и чистаго воображенія! Но Аристъ никогда не чувствовалъ сихъ тихихъ красотъ природы: на какомъ языкѣ онъ будетъ говорить здѣсь? Вмѣсто весны, онъ будетъ описывать осень, любимое время года, когда воображеніе его летаетъ по дикимъ и каменистымъ утесамъ, когда порывистымъ свистомъ вѣтръ шумитъ въ разсѣлинахъ горъ, когда бури изторгаютъ съ корнемъ дубы изъ земли, или громъ, разщепивъ на куски, бросаетъ ихъ въ отдаленнѣйшія пропасти, когда природа отъ страха дрожитъ и съ печалію слагаетъ съ себя великолѣпное одѣяніе лѣта, когда черныя тучи, то, обложивъ все небо, среди дня дѣлаютъ мрачную ночь, то, разверзшись вдругъ надъ землею, изъ хлябій своихъ изливаютъ страшныя рѣки дождя. Такова, скажетъ Аристъ, весна! Но весна не такова: она тиха и спокойна. И вотъ описаніе прекраснаго Майска-

го утра во вкусѣ Ариста! Онъ прибавитъ, что онъ пишетъ въ высокомъ родѣ; друзья его улыбнутся, пожмутъ плечами, отойдутъ и скажутъ, что Аристъ великолѣпнѣйшимъ образомъ заблуждается, и это потому, что обладаетъ однимъ только родомъ вкуса и все льетъ въ одну форму.

Клеанѳъ напротивъ любитъ одно только нѣжное. Гдѣ нѣтъ томной любви, гдѣ нѣтъ ни состраданія, ни слезъ, тамъ нѣтъ красотъ для Клеанѳа. Природа, въ самомъ великолѣпномъ ея видѣ, для него мертва. Ему нѣкогда велѣли описать бурю. Въ семъ страшномъ явленіи онъ ничего не находитъ достойнаго его кисти. Два слова о трепетаніи листочковъ на древахъ, о страхѣ, о возмущеніи голубей, и описаніе его кончилось. Это потому, что, имѣя вкусъ къ красивому, онъ не имѣетъ его ни къ высокому, ни къ простому.

Изъ сего видно, что обладать однимъ родомъ вкуса, любить или одно высокое, или одно только простое, значитъ имѣть вкусъ ложной. Что̀ такое будетъ ораторъ, вопрошаетъ Цицеронъ, который ничего не можетъ сказать спокойно, ничего раздѣльно, ничего просто и естественно, но все съ рвеніемъ, съ жаромъ, съ восторгомъ? что̀ другое онъ будетъ, какъ не человѣкъ въ бѣшенствѣ, или въ изступленіи? Qui enim nihil potest tranquille, nihil leniter, nihil partite, definite, distincte, facete dicere, is non præparatis auribus inflammare rem cœ-

pit, furere apud sanos et quasi inter sobrios bacchari vinolentus videtur.

Вкусъ совершенный чувствуетъ всѣ роды изящнаго, и ими услаждается. Онъ умѣетъ восхищаться возвышеннымъ Омиромъ, но тѣмъ не менѣе онъ любитъ простоту Теренція; онъ любитъ плакать съ Расиномъ и смѣяться съ Княжнинымъ; словомъ, онъ соединяетъ въ себѣ по равной мѣрѣ всѣ начала вкуса; онъ равно чувствителенъ, какъ и тонокъ, равно тонокъ, какъ и вѣренъ.

Если къ симъ дарамъ разсудка природа присовокупитъ еще живое воображеніе и изобрѣтательный умъ, изъ сего счастливаго смѣшенія талантовъ произойдетъ великій и совершенный ораторъ, который всегда будетъ идти ровнымъ шагомъ съ своимъ предметомъ, который все произнесетъ особливымъ тономъ, который будетъ высокъ въ великомъ, красивъ въ пріятномъ, простъ въ естественномъ: qui et humilia subtiliter, et magna graviter, et mediocra temperate potest dicere. Таково есть изображеніе его въ умѣ. Но найдемъ ли мы когда нибудь его подлинникъ въ природѣ? Симъ окончимъ наши разсужденія о вкусѣ и поступимъ къ другимъ частямъ слова.

О РАСПОЛОЖЕНІИ СЛОВА.

Всѣ должности оратора Цицеронъ описываетъ тремя словами: *videat, quid dicat, quo loco et quo modo. Quid dicat,*—онъ долженъ изобрѣсть; *quo*

loco,—онъ долженъ расположить; *quo modo*,—онъ долженъ предложить извѣстнымъ слогомъ. Риторика не что другое есть, какъ пространное истолкованіе сихъ словъ. Мы доселѣ занимались первою ея частію, т. е. *изобрѣтеніемъ*. Разрѣшивъ науку изобрѣтенія на науку размышлять, намъ осталось только показать, какимъ образомъ дѣлать выборъ въ изобрѣтенныхъ мыслях; и какъ къ сему требуется необходимо доброй вкусъ, мы разсмотрѣли его начала, открыли его корень въ нашей душѣ, указали его вѣтви, и дали способъ его возращать.

Теперь я предполагаю, что ораторъ, углубившись въ свой предметъ, открылъ въ немъ богатую жилу своему размышленію; что даръ его обозрѣлъ все поле, гдѣ онъ долженъ собирать свои матеріалы; что вкусъ его отдѣлилъ въ нихъ изящное отъ блистательнаго, истинное отъ ложнаго; сообразилъ все съ главнымъ видомъ своего предмета, и такимъ образомъ собралъ извѣстное количество мыслей и разсужденій. Я предполагаю далѣе, что мысли сіи будутъ тонки, естественны и даже высоки, разсужденія дальновидны, правильны, взяты изъ самой глубины сердца или ума. Но если духъ порядка, подобно Духу Творческому, носясь надъ хаосомъ мыслей и разсужденій, не приведетъ его въ движеніе и не расположитъ предметы сходственно природѣ ихъ: все представитъ тогда одно только безобразное смѣшеніе понятій, покрытое глубокимъ мракомъ. Сіе

зрѣлище для души будетъ скучно; ея вниманіе, раздѣляясь на столько видовъ, между собою различныхъ, будетъ въ нихъ теряться, принуждено дѣлать внезапные, далекіе и насильные переходы отъ одного предмета къ другому, изъ коихъ каждый его порываетъ къ себѣ; оно придетъ въ усталость, и душа почувствуетъ неудовольствіе. Сверхъ сего большая часть красотъ зависитъ отъ мѣста. Вставьте алмазъ въ средину безобразныхъ камней: онъ потеряетъ половину своего блеска; онъ едва будетъ примѣтенъ. Это потому, что надобно сперва душу приготовить къ чувствію, которое мы хочемъ дать ей испытать, надобно сперва настроить ея вниманіе на сходственный тонъ: тогда малѣйшія ударенія красотъ ей будутъ чувствительны; тогда всѣ силы ея соображенія соберутся въ одну точку; и она обниметъ предметъ во всемъ его пространствѣ. Одна мысль будетъ провождать его къ другой; и она пойдетъ со всѣхъ сторонъ окружена свѣтомъ, который онѣ другъ на друга проливаютъ.

. . . . Tantum series iuncturaque pollet;
Tantum de medio sumtis accedit honoris.

Я понимаю два рода расположеній: одно изъ нихъ касается мыслей, другое—частей слова; одно можно назвать частнымъ, другое общимъ. Я сдѣлаю нѣсколько примѣчаній на то и на другое.

Порядокъ размышленія былъ бы порядокъ и сочиненія, если бы при размышленіи не встрѣчались

намъ мысли побочныя и чужія нашему предмету. Онѣ связаны не по природѣ своей, но примкнуты по времени, мѣсту, обстоятельствамъ. Отдѣлить сіи мысли и оставить однѣ только однородныя, можетъ быть, есть то же, что расположить предметъ. Sed de his alia vice melius disquirendum.

Порядокъ мыслей, входящихъ въ слово, два главные имѣетъ вида: взаимное мыслей отношеніе къ себѣ, и подчиненіе ихъ цѣлому. Отсюда происходятъ два главныя правила для расположенія мыслей:

1. Всѣ мысли въ словѣ должны быть связаны между собою такъ, чтобъ одна мысль содержала въ себѣ, такъ сказать, сѣмя другой. Сіе правило вообще извѣстно, и я не буду слишкомъ на него настоять: я покажу его только основаніе. Всѣ сходственные образы вещей связаны въ мозгу извѣстнымъ сцѣпленіемъ; а посему, какъ скоро одинъ изъ нихъ подвинется или оживится, въ то же мгновеніе всѣ зависящіе отъ него пріемлютъ движеніе или оживляются. Сіе сообщеніе или игра понятій представляетъ душѣ пріятное зрѣлище: ея вниманіе съ легкостію переходитъ отъ одного предмета къ другому: ибо всѣ они повѣшены, такъ сказать, на одной нити. Во мгновеніе ока, она озираетъ ихъ тысящи: ибо всѣ они, по тайной связи съ первымъ, движутся съ непонятною быстротою. Такимъ образомъ одно занимаетъ ее безъ усталости, а другое даетъ ей выгодное понятіе о пространствѣ ея способно-

стей, и все вмѣстѣ ей ласкаетъ. Но какъ скоро понятія будутъ разнородныя, ихъ образы не будутъ лежать близко, и связь между ими будетъ не столь крѣпка и естественна. Душа должна на каждое взирать особенно. Она должна разсыпать вниманіе свое во всѣ стороны; переходы отъ одного предмета къ другому будутъ для нее трудны; ея вниманіе не будетъ переходить само собою; его надобно будетъ влечь насильно. Сумма собранныхъ понятій будетъ не столь велика, чтобъ заплатить ей за сей трудъ, и все насильное не можетъ быть не противно.

На семъ-то главномъ правилѣ основано употребленіе переходовъ отъ мысли къ мысли и отъ части къ части. Есть понятія, по естеству своему тѣсно связанныя между собою; но сія связь не для всѣхъ и не всегда бываетъ примѣтна: надобно ее открыть, надобно указать путь вниманію, проводить его; иначе оно можетъ заблудиться или прерваться.

Умы рѣзвые, бросающіеся изъ одной мысли въ другую! вы должны сіи правила при каждомъ сочиненіи приводить себѣ на память; вы должны удерживать, сколько можно, стремительный свой бѣгъ и всегда держаться одной нити. Въ жару сочиненія, все кажется связано между собою; воображеніе все слѣпляетъ въ одно. Приходитъ холодной здравой разумъ,—и связь сія изчезаетъ; всѣ нити ей рвутся; сочиненіе распадается на части; и на мѣстѣ

стройнаго цѣлаго видна безобразная смѣсь красотъ разительныхъ.

2. Второе правило въ расположеніи мыслей состоитъ въ томъ, чтобъ всѣ онѣ подчинены были одной главной:

Denique sit quodvis simplex duntaxat et unum.

Сіе правило извѣстно въ писаніяхъ Риторовъ подъ именемъ *единства сочиненій;* его иначе можно выразить такъ: не дѣлай изъ одного сочиненія многихъ. Во всякомъ сочиненіи есть извѣстная царствующая мысль: къ сей-то мысли должно все относиться. Каждое понятіе, каждое слово, каждая буква должны идти къ сему концу: иначе онѣ будутъ введены безъ причины; онѣ будутъ излишни; а все излишнее несносно. Omne supervacuum pleno de pectore manat.

Тѣ не понимаютъ однакожъ истиннаго разума сего правила, кои требуютъ, чтобъ сіе отношеніе было непосредственно; чтобъ, говоря о скупости, каждая мысль замыкала въ себѣ непремѣнно сіе понятіе. Это значитъ не различать главнаго конца отъ видовъ ему подчиненныхъ. Довольно, чтобъ каждая мысль текла къ своему источнику, и слившись вмѣстѣ съ нимъ, уносилась и была поглощаема въ общемъ ихъ вмѣстилищѣ. Можно ли требовать, чтобъ всѣ рѣки порознь впадали въ море? Тѣ не понимаютъ такъ же сего правила, или его забываютъ, кои

въ сомнѣніяхъ дѣлаютъ далекія и невозвратныя отступленія, или, какъ выражаетъ Горацій,

Purpureum, late qui splendeat, adsuunt pannum.

Сія погрѣшность можетъ происходить отъ двухъ причинъ: или отъ слабости соображенія, когда умъ не можетъ свесть всѣхъ понятій съ главнымъ, сличить ихъ, и съ точностію опредѣлить сходство ихъ или различіе; или отъ сильнаго и стремительнаго воображенія, порывающаго и уносящаго съ собою разсудокъ. Когда такое воображеніе владычествуетъ въ сочиненіи, оно увлекаетъ всю матерію въ ту сторону, которая для нея выгоднѣе, гдѣ свободнѣе можетъ оно разлиться, и гдѣ менѣе встрѣчаетъ себѣ оплотовъ. Часто оно открываетъ тамъ мѣста прекрасныя; но понеже они удалены отъ истиннаго пути, душа съ неудовольствіемъ ихъ разсматриваетъ, ибо знаетъ, что ихъ надобно наконецъ оставить и возвратиться на прежнюю стезю, не сдѣлавъ ни одного шага впередъ. Она любитъ мѣста прекрасныя; но надобно, чтобъ они лежали у нея на дорогѣ

Есть родъ отступленій, дѣлающихъ изключеніе изъ сего правила. Это суть, такъ сказать, отступленія съ умыслу, когда писатель къ главной мысли идетъ не прямо, но извилинами, не теряя ее однакожъ изъ виду. Но собственно говоря, это не есть отступленіе, это есть кратчайшая дорога къ той же цѣли. Она не пряма, но за то она или надежнѣе, или пріят-

нѣе. Сей родъ отступленія не есть погрѣшность, но совершенство. Писатель дѣлаетъ симъ душѣ пріятный обманъ, когда заблуждая съ нею, и по видимому удаляясь отъ своего конца, вдругъ однимъ шагомъ ставитъ ее предъ нимъ, и совершаетъ свой путь не давъ почти ей примѣтить, что они подвигались впередъ. Я замѣчу между тѣмъ, что нѣтъ ничего труднѣе въ сочиненіи, какъ заблуждать такимъ образомъ, т. е. заблуждать, не теряя дороги. Надобно твердо знать свою цѣль; надобно знать всѣ уклоненія, всѣ тропинки, ведущія тайно къ ней, чтобъ отважиться на сіе съ успѣхомъ. Таковы суть правила расположенія мыслей; поступимъ къ расположенію частей слова.

Нѣтъ ничего естественнѣе, какъ расположить рѣчь на четыре части. Искусство, но искусство очень близкое къ природѣ, заставляетъ насъ къ двумъ существеннымъ частямъ слова, т. е. къ предложенію и доводамъ, присовокупить двѣ другія: вступленіе и заключеніе; одно, чтобъ пріуготовить умъ, другое, чтобъ собрать въ одну точку всю силу рѣчи, и тѣмъ сдѣлать сильнѣйшее въ немъ напечатлѣніе. Основаніе и необходимость каждой изъ нихъ мы видѣли, когда разсматривали сіи части слова вообще.

И сіе есть общее расположеніе всѣхъ рѣчей; между тѣмъ, однакожъ, каждая изъ нихъ имѣетъ собственной свой планъ: ибо каждая изъ нихъ собствен-

ную свою имѣетъ матерію и собственной свой умъ, ее обработывающій.

Хотѣть, чтобы всѣ рѣчи были располагаемы по одному частному расположенію,—это все равно, какъ требовать, чтобъ всѣ изображенія были сдѣланы на одинъ образецъ, или вылиты въ одну форму. Конецъ расположенія есть—укрѣпить посредствомъ порядка связь мыслей, поддержать понятіе понятіемъ, и слово пояснить словомъ. И можно ли на сіе предписать какое нибудь общее правило? Всякая матерія заводитъ наши мысли собственнымъ своимъ ключемъ; слѣдовательно во всякой матеріи ходъ долженъ быть различенъ. И такъ обозрѣть свой предметъ, раздробить его на части и, сличивъ одну часть съ другою, примѣтить, какое положеніе для каждой выгоднѣе, какая связь между ими естественнѣе, въ какомъ разстояніи онѣ болѣе другъ на друга отливаютъ свѣта, —примѣтить все сіе, и установить ихъ въ семъ положеніи, дать сію связь, поставить въ семъ разстояніи,—есть единое правило на расположеніе.

Изъ сего видно, что разумъ предписаній, данныхъ нами на сей конецъ, отличенъ отъ простаго и на первой взглядъ примѣчаемаго въ нихъ смысла. Я постараюсь теперь открыть его.

И во первыхъ я примѣчу, что обыкновенное строеніе церковнаго слова состоитъ въ томъ, чтобъ послѣ предложенія собрать нѣсколько доводовъ, и рас-

положивъ ихъ одинъ послѣ другаго, составить общее доказательство.

Въ нашемъ расположеніи одинъ только доводъ, и доводъ, предложенный во всей логической строгости; прочее мѣсто занимаютъ увѣщанія. Итакъ въ чемъ состоитъ различіе.

БИБЛІОТЕКА

Второе примѣчаніе, которое я [illegible], состоитъ въ томъ, что употребленіе многихъ доводовъ безполезно—1) потому, что истина есть единое нѣчто, и слѣдовательно она не можетъ имѣть многихъ доказательствъ. Утверждать ее многими доводами есть только смотрѣть на нее съ различныхъ сторонъ. 2) Всѣ доводы необходимо должны разрѣшиться на одинъ, яко главной или коренной; а посему предложить сей доводъ—есть слить въ него всѣ другіе. 3) Родъ истинъ, составляющихъ предметъ церковнаго слова, не требуетъ многихъ доказательствъ. Умъ по большой части въ нихъ увѣренъ: остается тронуть сердце.

И такъ поставить одинъ сильной и строгой доводъ на мѣсто множества слабыхъ или одно-значущихъ, не есть ослабить силу доказательства: это значитъ собрать вниманіе слушателя и обратить его на одну сторону. Сего однакожъ не довольно. Проповѣдникъ имѣетъ дѣло съ сердцемъ: его онъ долженъ искать, ему говорить, его убѣждать, и на сей-то конецъ введены увѣщанія. Судя по различію матерій, въ нихъ онъ долженъ представлять или пра-

вила, или побужденія, или послѣдствія, но долженъ все наклонять къ сердцу. Здѣсь воображеніе его должно разлиться и смѣшаться съ воображеніемъ слушателей, здѣсь страсти его должны горѣть и бросать искры въ предстоящихъ, словомъ, долженствуетъ торжествовать краснорѣчіе.

И такъ я отличаю главныя части въ нашемъ планѣ: часть логическую, или философическую, въ коей ораторъ долженъ говорить уму, и часть витійства, въ коей онъ долженъ говорить страсти. Такимъ образомъ сей планъ удовлетворяетъ двумъ главнымъ предметамъ краснорѣчія: склонить умъ, тронуть сердце.

Доводъ, собственно такъ называемый, долженъ быть кратокъ, ясенъ, чистъ, приправленъ философскою солью.

Увѣщанія должны занимать большую часть слова. Они должны быть живы, блистательны, должны быть писаны самымъ внутреннимъ чувствіемъ. Ибо я уже примѣтилъ, что главный предметъ церковнаго слова суть страсти.

О слогѣ.

Мы оставили нашего оратора на томъ мѣстѣ его сочиненія, гдѣ онъ, пріискавъ мысли, старался ихъ привесть въ порядокъ, который бы наиболѣе открывалъ ихъ силу и совершенство. Мы снабдили его для сей работы нѣкоторыми примѣчаніями и правилами. Теперь положимъ, что пользуясь сими

наставленіями, онъ расположилъ части своего предмета наивыгоднѣйшимъ для нихъ образомъ. Чтожъ осталось послѣ сего ему дѣлать? Всѣ риторы вамъ на сіе въ отвѣтъ скажутъ, что онъ долженъ еще пріискать слова, распорядить ихъ, дать имъ оборотъ, и связавъ извѣстнымъ образомъ сіи обороты, предложить свою матерію извѣстнымъ слогомъ; или короче, онъ долженъ выразить предметъ словами. И отсюда происходитъ третія часть Риторики, которая разсуждаетъ о *выраженіи*, и собственно называется *elocutio*. Вотще ораторъ будетъ мыслить превосходно и располагать естественно, если между тѣмъ не будетъ онъ силенъ въ выраженіи. Слово есть родъ картины: оно можетъ быть превосходно въ своей рисовкѣ, или въ первомъ очертаніи. Но безъ красокъ картина будетъ мертва. Одно выраженіе можетъ дать ему жизнь. Оно можетъ украсить мысли низкія и ослабить высокія. Великіе ораторы не по чему другому были велики, какъ только по выраженію. Виргилій и Мевій, Расинъ и Прадонъ мыслили одинаково: но первыхъ читаетъ и будетъ читать потомство, а послѣдніе лежатъ во прахѣ, и имя ихъ безсмертно только по презрѣнію. Надобно, чтобъ выраженіе было очень важная часть Риторики, когда столь великія, я хотѣлъ даже сказать, сверхъ-естественныя дѣлаетъ перемѣны въ словѣ; надобно, чтобъ мысли и расположеніе были предъ нимъ ничто, когда оно одно состав-

ляетъ ораторовъ, когда имъ различествуетъ творецъ громкихъ Одъ отъ творца Телемахиды. И такъ, чтожъ есть выраженіе? *Выраженіе*, отвѣтствуютъ намъ тѣ же риторы, не что другое есть, какъ связь или оборотъ словъ, изображающихъ извѣстную мысль; а посему слогъ не что другое есть, какъ связь многихъ выраженій. Признаюсь, я ожидалъ болѣе. Изъ свойствъ, какія были предписаны слогу, мнѣ казалось, mons parturiebat, и чтожъ родилось? ridiculus mus. И такъ слова будутъ имѣть тайную нѣкую или магическую силу превращать мысли, возвышать, понижать, украшать, разширять, стѣснять, ослаблять. И что же такое суть слова? произвольные знаки мыслей. Не знаки, разсуждая объ нихъ во всемъ ихъ пространствѣ, одно только могутъ имѣть достоинство: это есть вѣрность выраженія; а посему и слова, яко виды знаковъ, не могутъ имѣть, какъ только одно сіе совершенство, чтобъ возбудить съ вѣрностію въ умѣ тѣ понятія, которыя хотятъ ими означить: слѣдовательно они могутъ открыть только наши мысли другимъ, выставить ихъ наружу; они могутъ только разсказать другимъ, что происходитъ въ нашей душѣ. Это правда, они могутъ недорвать мысль, когда не выразятъ ее съ точностію: не желалъ бы я знать, какимъ образомъ они могутъ ее украсить и возвысить? Повторимъ еще: слова суть знаки мыслей произвольные: слѣдовательно они не могутъ болѣе означить, какъ сколько мы

имъ повелимъ, сколько позволитъ общее согласіе умовъ, присѣдящихъ образованію языка. Когда разъ сіе согласіе установлено, никто его не можетъ перемѣнить; одно употребленіе, сей маленькой тиранъ, quem penes arbitrium est et jus et norma loquendi, отъ времени до времени можетъ въ нихъ дѣлать легкія, медленныя и порознь едва примѣтныя перемѣны. Они могутъ значить менѣе, но никогда не могутъ значить болѣе. Valent verba sicut nummi. Никто, кромѣ власти предержащей, не можетъ возвысить цѣны монетъ; но есть тысяча роскошныхъ селадоновъ, которые могутъ ее унизить. Сей родъ роскошной глупости можно примѣтить и въ словахъ. Никто, кромѣ употребленія, не можетъ перемѣнить значенія слова; но всякъ, кто имѣетъ бумагу, чернила и языкъ, имѣетъ неотъемлемое и священное право понижать ихъ курсъ или означать ими гораздо менѣе, нежели сколько они значатъ по своему началу, или, чтобъ сказать яснѣе, подрывать и обезображивать ими свои мысли. И вотъ что называется не знать своего языка. Это есть не знать общей цѣны словъ. И такъ можно обезобразить мысль словами, предложивъ ее не вѣрно, или принявъ къ выраженію ея не тѣ знаки, кои употребленіе повелѣваетъ (*). Но слова не могутъ украсить понятій. Могутъ ли они ихъ украсить, когда обнажаютъ только ихъ, когда выставляютъ только наружу?

(*) Прикладъ. Локк. и Тр. о свойствѣ словъ и понятій.

Украшаетъ ли кисть портретъ, когда снимаетъ только вѣрно его съ подлинника? Но откуда происходитъ, что одна и та же мысль, представленная другими словами, дѣлается лучше? Подлинникъ тотъ же, но портретъ сдѣлался изящнѣе. Разрѣшеніе сего вопроса ведетъ насъ къ новой теоріи слога.

ТЕОРІЯ СЛОГА.

Не слогъ, не выраженіе, не слова усиливаютъ мысль: мысли украшаются мыслями. Каждая мысль имѣетъ въ умѣ своемъ систему понятій, къ ней принадлежащихъ, и съ нею родъ цѣлаго составляющихъ. Оторвите главную мысль отъ сего цѣлаго: она будетъ уединенна, она будетъ слаба; но предложите ее вмѣстѣ съ ея системою: окружающія ее понятія усилятъ ее; отражая въ ней, яко въ своемъ средоточіи, свой свѣтъ, они ее сдѣлаютъ блистательною; они ее возвысятъ, разширятъ, и умъ, разсматривая ее однимъ взглядомъ, обозритъ вмѣстѣ съ нею тысячу другихъ; поле вниманія разширится, не теряя своей ровности и гладкости, и душа обниметъ вдругъ все сіе пространство съ удовольствіемъ: ибо она любитъ понимать, и понимать много, вдругъ и безъ смѣшенія. И такъ, чѣмъ будетъ болѣе при главномъ понятіи мыслей побочныхъ, тѣсно связанныхъ и ему однородныхъ, тѣмъ кругъ ея дѣйствія будетъ обширнѣе, тѣмъ работа сія для нея будетъ пріятнѣе.

Отъ Готтентота до Невтона, конечно, разстояніе будетъ безмѣрно: но находя по сей лѣствицѣ, сіе разстояніе часъ-отъ-часу сближается, черты сходства отъ-часу дѣлаются примѣтнѣе, разность на каждомъ шагѣ уменьшается и наконецъ совсѣмъ стирается и изчезаетъ. А посему, говоря вообще, можно сказать, что главныя мысли, входящія въ слово ораторское, почти у всѣхъ одинаковы; иначе какимъ бы образомъ одного человѣка могли разумѣть тысячи? Надобно, чтобъ въ мозгу ихъ для мыслей его было приготовлено мѣсто; надобно, чтобъ онѣ въ немъ тотчасъ находили связи и посредствомъ ихъ тамъ утверждались. Итакъ, все различіе умовъ состоять будетъ въ сихъ мысляхъ побочныхъ, главную окружающихъ. Чѣмъ кругъ сей будетъ обширнѣе, чѣмъ изъ однороднѣйшихъ онъ будетъ составленъ частей, тѣмъ мысли будутъ великолѣпнѣе, тѣмъ будутъ онѣ отливаться чище и успѣшнѣе. Голова Цицеронова и голова послѣдняго адвоката различествуетъ только тѣмъ, что въ первой всѣ мысли главныя связаны съ тысячью другихъ, отъ нихъ зависящихъ, что сія связь сколько съ одной стороны тверда, столько съ другой нѣжна, такъ что при малѣйшемъ потрясеніи одной части, всѣ другія приходятъ въ движеніе, и что наконецъ всѣ понятія, подчиненныя главнымъ, суть однородны и составляютъ одну съ ними систему. Напротивъ, въ головѣ послѣдняго, сіи подчиненныя понятія не столь

многочисленны, не столь однородны, не столь связаны, и владычество главныхъ мыслей въ ней тѣсно, слабо, не столь строго и не столь самодержавно. Отсюда происходитъ, что говоря объ одномъ и томъ же предметѣ и помѣщая однѣ и тѣ же главныя мысли, первой будетъ Цицеронъ, а послѣдній на вѣки останется слабымъ адвокатомъ.

И такъ, не слова дѣлаютъ различіе въ одной и той же мысли, но понятія побочныя, вкругъ ея стоящія и ее поддерживающія. Отсюда происходитъ, что одинъ и тотъ же писатель объ одной матеріи говоритъ хорошо, а о другой худо. Онъ равно знаетъ языкъ, и слова равно въ его власти; но онъ не имѣетъ понятій. Слова, я ужѐ сказалъ, одно только имѣютъ достоинство: это есть выразить съ вѣрностію мысли. Я поясню сіе предложеніе примѣромъ. Вамъ извѣстны два пресловутые перевода Руссовой оды на *Счастіе*. Два лучшіе Россійскіе стихотворца имъ занимались; но одинъ сильною кистью списалъ всѣ красоты подлинника, перелилъ въ него весь жаръ поэзіи, и Руссо въ спискѣ, кажется, дышетъ тѣмъ же огнемъ, какой блещетъ въ оригиналѣ. Другой провелъ только начальныя черты его мыслей, и показалъ намъ не Руссо, но его слабую тѣнь. Между тѣмъ главныя мысли въ обоихъ равно сохранены: откудажъ сіе безконечное различіе? отъ словъ ли? отъ выраженія? Нѣтъ! отъ побочныхъ понятій. Раздробленіе покажетъ сіе яснѣе.

Ломоносовъ.

Доколѣ, счастье, ты вѣнцами
Злодѣевъ будешь украшать?
Доколѣ ложными лучами
Нашъ разумъ будешь ослѣплять?
Доколѣ, истуканъ прелестной,
Мы будемъ жертвой, намъ безчестной,
Твой тщетный почитать алтарь?
Доколѣ будемъ строить храмы,
Твои чтить замыслы упрямы,
Прельщенная словесна тварь?

Сумароковъ.

Ты, фортуна, украшаешь
Злодѣянія людей,
И мечтанія мѣшаешь
Разсмотрѣти жизни сей.
Долго ль намъ повиноваться,
И доколѣ поклоняться
Намъ обману твоему?
Всѣ тобою побѣжденны,
Всѣ ли смертные рожденны
Сопротивиться уму?

Руссо.

«О счастье, коего десница вѣнчаетъ самыя неслыханныя злодѣянія ложнымъ свѣтомъ, что вокругъ тебя сіяетъ! всегда ли мы будемъ ослѣплены? доколѣ

ослѣпляющій истуканъ, на алтаряхъ мы будемъ воскурять для насъ постыдный ѳуміамъ? всегда ли смертные будутъ святить прихоти твои жертвами и благоговѣніемъ?»

Въ сихъ трехъ изображеніяхъ одного и того же предмета, краски хотя и различны, но имѣютъ одинаковый степень доброты. Все различіе состоитъ только въ фигурахъ, окружающихъ главный видъ картины. Во всѣхъ трехъ слова вообще чисты, звонки, довольно выражающія. Но къ главной мысли: *счастіе нерѣдко вѣнчаетъ злодѣяніе*, Ломоносовъ присоединяетъ множество побочныхъ и по большой части прекрасныхъ; и во-первыхъ, онъ счастіе одушевляетъ—онъ говоритъ ему, упрекаетъ его, ссорится съ нимъ, и требуетъ у него отчета:

«Доколѣ, счастье, ты вѣнцами
Злодѣевъ будешь украшать?»

Сравните сей стихъ съ Сумароковымъ:

«Ты, фортуна, украшаешь
Злодѣянія людей.»

Вы найдете, что первой написалъ пламеннымъ перомъ; второй слабъ, холоденъ и почти низокъ. Первый съ благороднымъ дерзновеніемъ выводитъ счастіе на судъ и заставляетъ его отвѣчать предъ вселенной; другой пріемлетъ на себя трудъ съ холодностію только сказать фортунѣ, что она украшаетъ злодѣянія; но кто сего не знаетъ? Это все равно,

если бы кто сказалъ разбойнику: «ты, мой другъ, много сдѣлалъ преступленій».

«Доколѣ ложными лучами
Нашъ разумъ будешь ослѣплять?»

Здѣсь главная мысль: разумъ не можетъ разсмотрѣть пустоты счастія. Съ нею сцѣпляется другая: разумъ долженъ быть слѣпъ; а съ нею вяжется третія: его ослѣпило счастіе. Изъ сего сцѣпленія трехъ мыслей выходитъ четвертая; и ею-то пользуется піитъ, ибо она прекрасна; ибо заключаетъ въ себѣ три первыя:

«Доколѣ ложными лучами
Нашъ разумъ будешь ослѣплять?»

Но та же главная мысль Сумарокова уноситъ въ другую сторону; и онъ на пути своемъ встрѣчаетъ не болѣе, какъ сіе:

«И мечтанія мѣшаешь
Разсмотрѣти жизни сей.»

Отъ злодѣянія, кои фортуна украшаетъ, какой трудной переходъ для ума къ мечтанію! и къ какому мечтанію? жизни сей; но что такое мечтаніе жизни сей? и къ чему здѣсь жизнь сія? Всѣ сіи вопросы имѣетъ право сдѣлать читатель, и кто будетъ отвѣчать за сочинителя? стихъ его молчитъ, и творца своего не защищаетъ. Сія послѣдняя мысль, конечно, имѣетъ отдаленную связь съ главною: но кто обязанъ открывать ее, когда сочинитель о семъ не заботится, и когда онъ даже не оставилъ слѣдовъ,

по коимъ умъ его шелъ? и безъ сихъ слѣдовъ кто увѣритъ читателя, что онъ держался прямаго пути и отнесъ мысль къ истинному ея началу? ибо она можетъ быть отнесена такъ же и къ другимъ. И такъ онъ долженъ идти ощупью и на-удачу; онъ долженъ угадывать: какое для него будетъ наказаніе читать стихи! Я ничего здѣсь не скажу о томъ, что слово *мѣшаетъ*, даетъ низкое понятіе; что *мечтаніе мѣшаетъ*—оскорбляетъ ухо; что наконецъ ни одной черты сей стихъ не снимаетъ съ оригинала; я ничего о семъ не скажу, и пойду далѣе.

Ломоносовъ:
Доколѣ, истуканъ прелестной,
Мы станемъ жертвой, намъ безчестной,
Твой тщетный почитать алтарь?

Сумароковъ:
Долголь намъ повиноваться,
И доколѣ поклоняться
Намъ обману твоему?

Можно ли повѣрить, чтобъ сіи четыре стиха родились изъ одной и той же мысли?—Два первые столь пышны, столь возвышенны, и два послѣдніе столь просты, и столь малозначущи! И уже ли скажутъ, что все различіе здѣсь только въ словахъ? Но слова ль сію нагую мысль: «счастье всѣ люди уважаютъ» одѣли столь великолѣпно и преобразили въ другую:

«Доколѣ, истуканъ прелестной,
Мы станемъ жертвой, намъ безчестной. . . .?»

Нѣтъ! къ сему надобно было отъ понятія уваженія взойти къ понятію боговъ, и съ богами представить истукана, съ истуканомъ его поклонниковъ, и съ поклонниками алтари и жертвы; надобно было обозрѣть весь сей кругъ понятій, вяжущихся тѣсно съ понятіемъ уваженія, чтобъ сдѣлать сіе прекрасное изображеніе. Словами, повторяю я еще, облекли ту же самую мысль въ сіе раздранное рубище:

«Долголь намъ повиноваться,
И доколѣ поклоняться
Намъ обману твоему?»

Съ тѣмъ же понятіемъ уваженія, въ умѣ сочинителя, здѣсь связаны уже не боги, не алтари, не жертвы, но только повиновеніе, поклоненіе и обманъ: понятія несравненно низшія и не столь однородныя: ибо кто когда поклонялся обману?

Сихъ замѣчаній довольно, чтобъ приготовить насъ къ общему заключенію: что не слова дѣлаютъ различіе въ одной и той же мысли, но одна и та же мысль бываетъ различна, по различію понятій, съ нею связанныхъ. Говоря собственно, нѣтъ двухъ мыслей совершенно одинакихъ, какъ скоро онѣ выражены различно; хотя тысяча мыслей могутъ имѣть одну и ту же главную мысль, и происходятъ отъ нея, какъ вѣтви отъ общаго корня. Нельзя къ мысли прибавить одного слова, нельзя отъ нея отнять его, не перемѣнивъ ея вида, или не преобразивъ ее въ другую: ибо съ словомъ прибавляется

понятіе, а съ понятіемъ дается новое отношеніе, новая открывается связь.

И такъ я различаю два рода мыслей въ сочиненіи: мысли *главныя*, и мысли *побочныя* или отъ первыхъ произшедшія. Въ моихъ понятіяхъ *изобрѣсть* не что другое будетъ, какъ найти мысли главныя; *расположить*—есть представить ихъ въ порядкѣ выгодномъ для нихъ и для цѣлаго; наконецъ, *выразить* не что другое будетъ, какъ открыть связь главной мысли съ понятіями побочными, или представить ее во всей системѣ понятій, съ нею сопряженныхъ; такъ напримѣръ, выразить сію мысль: «безъ счастія не можно быть героемъ»—есть не что другое, какъ открыть связь ея съ понятіями вокругъ ее стоящими. Сіи понятія суть: геройство есть только маска мужества; сію маску поддерживаетъ счастіе; безъ счастія она падаетъ и герой изчезаетъ. Открывъ связь сихъ мыслей побочныхъ, мысль главная превращается въ сію: «какъ скоро счастіе, герой! васъ оставитъ, маска упадетъ; герой изчезнетъ, останется человѣкъ.»—Если сія связь понятій будетъ легка и непринужденна, выраженіе будетъ естественно. Если она будетъ простираться на предметы великіе и возвышенные, выраженіе будетъ благородно. Если она обниметъ легкимъ переходомъ понятія отдаленныя и на первой взглядъ непримѣтныя, выраженіе будетъ тонко или глубокомысленно. Если она будетъ тверда и непреры-

вна, выраженіе будетъ сильно. Словомъ, по различію сей связи, выраженіе будетъ различно; и оттуда произойдутъ виды выраженій сильныхъ, высокихъ, тонкихъ, естественныхъ и проч.

Такова есть истинная теорія выраженія. Она, безъ сомнѣнія, многимъ покажется странною и отходящею отъ обыкновенныхъ понятій, каковыя даютъ намъ о сей части риторы: тѣмъ не менѣе, однакожъ, она будетъ справедлива. Не одни только мнѣнія принятыя суть мнѣнія неоспоримыя. Источникъ истины неизчерпаемъ, и часто справедливое лежитъ на днѣ, между тѣмъ какъ заблужденія плаваютъ на поверхности. Сказать, что выраженіе есть не что иное, какъ изъясненіе мысли словами,— это правда, сіе опредѣленіе, на первый взглядъ, кажется просто и ясно; но какъ скоро посмотрѣть на него философскимъ глазомъ, тотчасъ примѣтимъ, что нѣтъ ничего его темнѣе и непонятнѣе. Въ самомъ дѣлѣ, что̀ такое есть изъяснить мысли словами? развѣ бываютъ мысли безъ словъ? развѣ мыслимъ мы безъ понятій? развѣ не изъяснена мысль въ ту жъ минуту, какъ она родилась, и развѣ есть понятіе безъ напечатлѣнія? Но какія могутъ быть напечатлѣнія родовъ и видовъ, кои одни составляютъ матерію нашихъ мыслей, такъ какъ недѣлимыя, матерію нашихъ чувствованій? какія могутъ быть сіи напечатлѣнія, какъ не знаки, какъ не слова? Здѣсь не мѣсто разыскивать подроб-

нѣе сію психологическую истину. Назначивъ ея основаніе, довольно отозваться къ собственному каждаго опыту. Я знаю, что иногда встрѣчаются понятія, коимъ трудно назначить точное и собственно имъ принадлежащее слово: но или мы дѣлаемъ описаніе ихъ занимая слова отъ другихъ, или, собственно говоря, это не суть понятія; это суть отрывки ихъ, или, лучше, это суть слабые и едва примѣтные слѣды оставшихся напечатлѣній; и мы обманываемся, когда думаемъ, что ихъ ясно представляемъ. Все ясное можно выразить словомъ, и нѣтъ мыслей безъ словъ.

Отдѣливъ такимъ образомъ отъ выраженія тѣ ложныя понятія, кои обыкновенно съ нимъ сопрягаютъ, намъ не трудно будетъ опредѣлить правильно слогъ. Мы согласимся въ семъ со всѣми другими, и скажемъ, что слогъ есть связь многихъ выраженій. А по сему сколько родовъ выраженія, столько можетъ быть родовъ слога. Слѣдовательно свойства слога можно раздѣлить на общія и частныя: общія суть тѣ, кои принадлежатъ ко всѣмъ его родамъ, и собственно относятся къ связи выраженій; частныя суть тѣ, кои принадлежатъ къ каждому изъ нихъ особенно.

ОБЩІЯ СВОЙСТВА СЛОГА.

I. Ясность.

Первое свойство слога, разсуждаемаго вообще, есть *ясность*. Ничто не можетъ извинить сочинителя, когда онъ пишетъ *темно*. Ничто не можетъ дать ему права мучить насъ труднымъ сопряженіемъ понятій. Какимъ бы слогомъ онъ ни писалъ, богъ добраго вкуса налагаетъ на него непремѣняемый законъ быть *яснымъ*. Объемлетъ ли онъ взоромъ своимъ великую природу? дерзкимъ и сильнымъ полетомъ онъ можетъ парить подъ облаками, но никогда не долженъ онъ улетать изъ виду. Смотритъ ли онъ на самую внутренность сердца человѣческаго? онъ можетъ тамъ видѣть тончайшія сплетенія страстей, раздроблять наши чувствія, уловлять едва примѣтныя ихъ тѣни, но всегда въ глазахъ своихъ читателей; онъ долженъ ихъ всюду съ собой вести, все имъ показывать, и ничего не видѣть безъ нихъ. Онъ заключилъ съ ними сей родъ договора, какъ скоро принялъ въ руки перо; ибо принялъ его для нихъ. А по сему, хотѣть писать собственно для того, чтобъ насъ не понимали, есть нелѣпость, превосходящая всѣ мѣры нелѣпостей. Если вы сіе дѣлаете для того, чтобъ вамъ удивлялись, сойдите съ ума—вамъ еще болѣе будутъ удивляться.

Есть другой родъ *темноты*, происходящей отъ того, когда писатель обманываетъ самъ себя, пред-

ставляя, что онъ пишетъ ясно, между тѣмъ какъ пишетъ темно. Сей родъ темноты, конечно, простительнѣе перваго; не менѣе сего, однакожъ, не простителенъ. Мы жалѣемъ о писателѣ, что онъ не умѣлъ быть съ собою чистосердечнымъ; но въ то же время проклинаемъ его творенія. Сей порокъ происходитъ или отъ смѣшенія понятій, или отъ сильнаго и слишкомъ быстраго воображенія(*). Въ первомъ случаѣ, мы не довольно выразумѣли самихъ себя, не довольно обдумали свой предметъ, чтобъ раздробить его на части и представить каждую часть раздѣльно; во второмъ, мы не умѣли поставить себя на мѣсто читателей. Въ нашемъ воображеніи, конечно, все было ясно, все понятно, все имѣло свои связи. Но мы разсѣкли сіи связи, предположивъ, что онѣ должны существовать во всѣхъ головахъ, понеже существуютъ въ нашей. Мы разсѣкли ихъ,—и уединенныя, отдаленныя мысли потеряли свой свѣтъ; ибо онѣ занимали его другъ отъ друга; т. е. мы сказали слишкомъ мало, хотя думали довольно. Есть еще третій родъ темноты, происходящей отъ того, когда мы хотимъ сказать слишкомъ много, когда говоримъ все, что ни думаемъ, когда хватаемся за всѣ побочныя понятія, встрѣчающіяся при главномъ, когда утруждаемъ и развлекаемъ симъ образомъ вниманіе читателя, и силясь все изъяснить,

(*) Все надобно приготовлять, чтобъ мысли развивались одна изъ другой. Это есть знакъ непрерывности.

не изъясняемъ ничего. Отсюда происходитъ слогъ разсѣянный, напыщенный, слишкомъ обильный.

Сей родъ темноты есть несноснѣйшій изъ всѣхъ. Онъ держитъ душу въ бездѣйствіи, не даетъ мѣста собственнымъ ея мыслямъ, похищаетъ у нее честь изобрѣтенія, и научая ее всему, обижаетъ ея самолюбіе,—обида, коей мы никогда не прощаемъ.

А по сему весь разсудокъ сочинителя потребенъ къ тому, чтобъ сказать ни менѣе, ни болѣе, какъ сколько должно. Онъ напередъ долженъ узнать мѣру умовъ, кои будутъ его читать; онъ долженъ предвидѣть, сколько могутъ они дополнить и сколько должно имъ представить, чтобъ прочее они увидѣли сами; онъ не долженъ давать намъ своихъ мыслей; онъ долженъ заводить только наши. Я знаю, что не всѣ умы могутъ быть заведены съ одинакою легкостію, и не всѣ могутъ равно идти. Но умы лѣнивые и грубые довольны будутъ, если ихъ только сдвинуть съ мѣста, между тѣмъ какъ тотъ же ударъ сообщитъ другимъ сильное движеніе. Такимъ образомъ всѣ будутъ довольны.

Познавъ причины темноты, намъ не трудно будетъ вывесть малое число правилъ, необходимыхъ къ тому, чтобъ слогъ былъ ясенъ.

1) Не надобно стараться быть темнымъ. Должно разъ навсегда отказаться отъ удивленія глупыхъ, или рѣшиться быть презираему просвѣщенными.

2) Надобно стараться разумѣть самаго себя, потребовать у себя отчета въ собственныхъ своихъ

мысляхъ, и взявъ въ руки перо, спросить себя: разумѣю ли я себя, что пишу?

3) Надобно умѣть поставить себя на мѣстѣ читателей, удалиться и смотрѣть на самаго себя въ нѣкоторомъ разстояніи, не подполагать въ другихъ той же связи понятій, той же быстроты воображенія, какую находимъ въ себѣ; но должно пользоваться тѣмъ, что они имѣютъ, и говорить на основаніи ихъ понятій, а не на собственныхъ своихъ.

4) Надобно сказать ни слишкомъ мало, ни слишкомъ много, занимать вниманіе и не приводить его въ усталость; надобно почитать умъ читателя, но не принуждать его насъ угадывать.

II. Разнообразіе.

Второе свойство слогу общее есть—*разнообразіе*. Нѣтъ ничего несноснѣе, какъ сей родъ монотоніи въ слогѣ, когда всѣ побочныя понятія, входящія въ него, всегда берутся съ одной стороны, когда всѣ выраженія въ оборотѣ своемъ одинаковы; словомъ, когда мы, въ продолженіи сочиненія, предпочтительно привязываемся къ одному какому нибудь образу выраженія или формѣ.—Аристъ мнѣ читалъ свое сочиненіе. Это не сочиненіе, но собраніе примѣровъ на антитезисъ: все у него противоположено, все сражается между собою. Я сказалъ ему, что надобно быть болѣе разнообразну въ словѣ и не все выливать въ одну форму. Онъ исправился, и на другой

день принесъ мнѣ другое писаніе: противоположенія въ немъ не было; но вмѣсто того всѣ превращено въ метафору, все изображено въ другомъ и, что всего хуже, подобіе непрестанно берется отъ одного и того же предмета. Sic in vitium ducit culpæ fuga, si caret arte.

III. Единство слога.

Не должно однако разумѣть подъ именемъ *разнообразія* сей развязанности слога, когда всѣ выраженія дѣлаютъ столько различныхъ кусковъ, оторванныхъ отъ различныхъ матерій и связанныхъ вмѣстѣ. Это было бы противно *единству* слога, третьему свойству его, столько же существенному.

Надобно, чтобы части были разнообразны, а цѣлое едино; надобно, чтобы въ сочиненіи царствовалъ одинъ какой нибудь главной тонъ, который бы покрывалъ, такъ сказать, собой всѣ прочіе. Такъ въ музыкѣ всѣ голоса различны, но всѣ подчинены главному тону, которой идетъ въ продолженіи всей піесы. Сей-то родъ гармоніи, разнообразной въ частяхъ и единой въ цѣломъ, необходимо нуженъ въ слогѣ. Отрывы и паденія изъ слога высокаго въ слогъ низкой, изъ красиваго въ посредственной, не могутъ ничего другаго произвесть, какъ разногласіе и дикость. Но понеже высокое имѣетъ подчиненные виды; понеже красивое и посредственное можетъ происходить отъ тысячи различныхъ мыс-

лей и сопряженій: оттуда происходитъ, что сочиненіе можетъ быть вмѣстѣ и едино въ главномъ видѣ слога, и разнообразно въ частяхъ своихъ.

И такъ, прежде нежели мы начнемъ писать, наперед должны опредѣлить главной тонъ сочиненія, или дать задачу. Сей тонъ опредѣляется изъ свойства самой матеріи: и отсюда происходитъ четвертое свойство слога или

IV. Равность слога съ матеріею.

Слогъ долженъ быть равенъ своему предмету, т. е. всѣ побочныя понятія должны быть соразмѣрны своимъ главнымъ. Если главныя мысли возвышенны, всѣ зависящія отъ нихъ должны быть сильны и благородны; если первыя просты, послѣднія должны быть легки и естественны. Сіе вообще столько справедливо, и столько существенно, что возвышеннѣйшія матеріи, предложенныя слогомъ низкимъ, равно какъ и низкія, предложенныя слогомъ высокимъ, дѣлаются смѣшными, и дѣлаютъ начало всѣмъ симъ сочиненіямъ паизпанку, коп забавны только потому, что къ главнымъ понятіямъ великимъ приплетены низкія, или къ низкимъ высокія. Такъ Россійскій Скарронъ, переодѣвъ Энея и боговъ, сдѣлалъ смѣшными; такъ Боало изъ налоя сдѣлалъ поэму, Попе—изъ локона волосъ; описавъ Гомеровымъ перомъ сіи низкіе, или мелкіе предметы, они заставили насъ смѣяться. Столько-то необхо-

димо, чтобъ слогъ былъ равенъ или однозвученъ съ своею матеріею.

На первой взглядъ, нѣтъ ничего легче, какъ сіе. Между тѣмъ, однакожъ, быть ни выше, ни ниже своего предмета, есть очень рѣдкое достоинство въ писателѣ. Къ сему надобно, чтобъ онъ зналъ совершенно степень силы и напряженія, какой можетъ принять его предметъ, и къ сему степени приспособить свой слогъ; знаніе, сколько необходимое, столько и трудное.

О СВОЙСТВАХЪ СЛОГА ОСОБЕННЫХЪ.

I. О свойствахъ слога высокаго. (*)

Говоря о вкусѣ въ высокомъ, мы довольно показали, что надобно разумѣть чрезъ мысли высокія. Это суть мысли, коихъ предметъ самъ по себѣ великъ и вмѣстѣ простъ.

Мысль высокая и слогъ высокій не суть одно и то же; часто мысль высокая можетъ быть предложена слогомъ простымъ, и часто слогъ высокой не имѣетъ въ себѣ сихъ мыслей сильныхъ, разящихъ, восхищающихъ и увлекающихъ съ собою наше вниманіе. Боало дѣлаетъ чувствительнымъ сіе различіе, предлагая слѣдующіе два примѣра:

(*) Собственно говоря, нѣтъ слога высокаго; но есть великолѣпной. См. Beccaria. Сюда принадлежатъ двѣ теоріи высокаго: Helvetius de l'homme и Beccaria—Recherches.

Рече Богъ: да будетъ свѣтъ—и бысть. Сію мысль Лонгинъ называетъ высокою; однакожъ она предложена очень просто. Чтобъ ее предложить въ высокомъ слогѣ, надобно бы сказать: Высочайшій Владыка твореній, единымъ словомъ движущій природу, рекъ: да изъ нѣдра тьмы возникнетъ свѣтъ—и въ тожъ мгновеніе свѣтъ разсѣкъ вѣчную нощь довременнаго хаоса. Мысль сдѣлалась бы слабѣе; но слогъ сталъ бы великолѣпнѣе.

Сіе различіе можно примѣтить и въ семъ мѣстѣ: *Видѣхъ нечестиваго превозносящася и высящася, яко кедры Ливанскія—мимо идохъ, и се не бѣ;* или, какъ предлагаетъ сіе мѣсто Расинъ: я зрѣлъ, какъ нечестивый былъ покланяемъ на земли; подобенъ кедру, возносилъ онъ до небесъ дерзкое свое чело; кажется, по своему хотѣнію управлялъ онъ громомъ и повергалъ враговъ своихъ къ стопамъ своимъ: но я прошелъ только мимо его, воззрѣлъ—и его уже не было. Слогъ сего мѣста великолѣпенъ; но въ немъ одна только мысль подходитъ къ высокому: *мимо идохъ, и се не бѣ.*

Разсматривая ближе сіи примѣры, мы находимъ, что мысль бываетъ высокою сама по себѣ, но слогъ бываетъ великолѣпенъ только по великимъ понятіямъ, главную мысль окружающимъ. Такъ въ первомъ примѣрѣ съ главною мыслію: *Богъ рекъ: да будетъ свѣтъ,*—связуются сіи: *Владыка твореній,—движущій вселенную словомъ—возникъ свѣтъ изъ*

нѣдра тьмы—разсѣкъ вѣчную нощь довременнаго хаоса. Всѣ сіи понятія суть понятія великія, и они-то дѣлаютъ слогъ великолѣпнымъ. А посему великолѣпной слогъ не что другое есть, какъ связь такихъ выраженій, въ коихъ понятія великія. Иногда главная мысль, въ коей связуются сіи понятія, бываетъ мысль обыкновенная и простая; тѣмъ не менѣе, однакожъ, слогъ будетъ великолѣпенъ, и сочиненіе настроено на высокой тонъ. И вотъ что называется быть великимъ по слогу или выраженію.

Слогъ быстрой есть связь понятій побочныхъ, передвигающихся съ скоростію и стремленіемъ, когда одна мысль другую давитъ, когда воображеніе оратора не можетъ ихъ вмѣстить, и онѣ вырываются у него, кажется, отрывками и въ безпорядкѣ. Такъ Флешье описываетъ смерть Тюренна: «Съ сего мѣста едва я могу продолжать свою рѣчь. Я возмущаюсь, Г. М.! Тюреннъ умираетъ—все приходитъ въ замѣшательство; счастіе колеблется; побѣда сомнительна; миръ удаляется; виды союзниковъ ослабѣваютъ; храбрость войскъ сражена великостію потери; все остановляется. Войско въ печальномъ одѣяніи воздаетъ ему послѣднія почести; и слава, коей пріятно разливать по всему свѣту чрезвычайныя пропзшествія, трубитъ во уши всей Европы, что Тюренна уже нѣтъ.» Здѣсь мысли, кажется, бѣгутъ сами собой: столько слогъ жарокъ, столько понятія замѣщаютъ другъ друга стремительно.

Слогъ сильной есть связь выраженій, отливающихъ главную мысль во всемъ ея пространствѣ, дающихъ ей напряженіе, котораго отъ нея не ожидали, и вяжущихся съ нею тѣснымъ и неразсѣкаемымъ союзомъ, даже и тогда, когда понятія всѣ разсыпаны и отдѣлены. Сей родъ слога иногда бываетъ чистъ, отдѣланъ, politus et ad unguem resectus. Но не теряя своей силы, или еще умноживъ ее, онъ можетъ пренебречь всѣ наружныя украшенія и явиться въ своей первородной и нѣсколько грубой простотѣ, incultus et masculo habitu. Мы представимъ примѣръ того и другаго. «Уже Тюреннь разлилъ ужасъ и замѣшательство въ полкахъ непріятеля; уже сей великой орелъ, коего дерзкой полетъ сперва толико былъ страшенъ нашимъ владѣніямъ, направилъ свое паренiе въ горы, чтобъ въ нихъ сокрыться и спастись. Сіи бронзовые громы, что адъ изобрѣлъ на погибель человѣковъ, ревѣли со всѣхъ сторонъ, чтобъ скрыть и ускорить его удаленіе; и Франція въ глубокомъ молчаніи ожидала конца предпріятій, кои по всѣмъ сопряженіямъ войны должны были прославить ее.»

«Увы! Г. М. мы знали, чего мы должны были ожидать, и не думали о томъ, чего должны были страшиться. Божественное Провидѣніе скрывало отъ насъ бѣдствіе величайшее, нежели потеря сраженія. Тюреннь долженъ былъ здѣсь умереть. О Боже страшный, но праведный въ совѣтахъ Твоихъ

надъ сынами человѣческими! въ Твоей десницѣ и побѣдители и побѣды. Ты закалаешь твоему величію великія жертвы, и разишь, когда восхощешь, сіи прославленныя главы, коихъ самъ ты толькратно вѣнчалъ.»

Слогъ сильной и острой, nervosus et asper, идетъ гигантскимъ шагомъ къ своему концу. Ежели ему встрѣчаются горы и мѣста затруднительныя; онъ не совращается съ своего пути, но отважною ногою ступаетъ по скаламъ и стремнинамъ; онъ не ищетъ нравиться; онъ только хочетъ дать великой ударъ. Нѣтъ въ немъ фигуръ слишкомъ выдержанныхъ; нѣтъ переходовъ, издалека пріуготовленныхъ; мало связей и цвѣтовъ; часто hirsutus, asper, incultus, онъ одѣваетъ себя только благородною гордостію, свободою и откровенностію.

Таковъ точно есть слогъ Боссюета. Мы покажемъ, какъ описываетъ онъ могущество смерти надъ величіями человѣческими.

«И вотъ она, не взирая на сіе великодушіе, вотъ сія Государыня, толико почитаемая и любимая; вотъ она въ томъ видѣ, какой дала ей смерть. Но и сей самой остатокъ ея изчезнетъ; сія тѣнь славы пройдетъ, и мы узримъ ее обнаженну даже и отъ сего печальнаго украшенія. Она снидетъ въ сіи мѣста мрака и ужаса, въ сіи подземныя жилища; она снидетъ, и опочіетъ тамъ въ прахѣ съ сильными земли, какъ говоритъ Іовъ, съ сими царями и князь-

ями падшими и разрушившимися, между коими едва остается для нея мѣсто. Толико-то тамъ всѣ ряды стѣснены; толико-то смерть для того неумолима, чтобъ наполнить сіи мѣста! Но какъ? Г. М. (здѣсь ораторъ пробуждается) какъ? мы должны оставить все? Богъ, разящій громомъ своимъ всѣ наши величія и обращающій ихъ въ прахъ, разрушаетъ ли всѣ наши надежды? Тотъ, предъ очами Коего ничто не теряется, Тотъ, Коего око назираетъ малѣйшія частицы нашихъ тѣлъ, во всѣхъ ихъ преображеніяхъ, въ какой бы конецъ свѣта поврежденіе или случай ихъ ни повергъ, наконецъ Богъ узритъ ли то разрушающимся безъ остатку, что Онъ сотворилъ способнымъ Его признавать и любить? Здѣсь новой порядокъ вещей открывается предъ мною; тѣни смерти разсѣваются, и двери жизни мнѣ отверсты.»

Вотъ его же изображеніе Кромвеля: «Тогда, въ сіи времена возмущенія и бѣдствій, родился человѣкъ съ невѣроятною глубиною ума, лицемѣръ столько же тонкій, какъ искусный политикъ, человѣкъ могущій все предпріять, все сокрыть, равно дѣятельный во время мира, какъ и во время войны,— человѣкъ, не оставляющій ничего дѣлать счастію, что онъ могъ у него отнять проницаніемъ и благоразуміемъ, и между тѣмъ столько всеобъемлющій и на все рѣшенный, что не упустилъ ни единаго случая, каковые оно ему представляло,—наконецъ одинъ изъ сихъ возмутительныхъ, безпокойныхъ и

отважныхъ умовъ, которыхъ природа производитъ нарочно на преобращеніе свѣта; ему дано было обольстить народы, превѣсить власть Государей и преломить ихъ могущество.»

Изъ сихъ примѣровъ видно, что слогъ сильной безъ украшеній есть тотъ, которой, мало заботясь о мысляхъ побочныхъ, опираетъ мысли главныя на нихъ самихъ и на собственной ихъ твердости.

Видъ слога сильнаго, но видъ удаленной и обезображенной, есть слогъ жестокой, когда мысли не раждаются однѣ изъ другихъ; когда понятія сражаются или расходятся по недостатку связей; когда члены рѣчи кажутся болѣе брошены, нежели поставлены, и когда ухо безпрестанно оскорбляется стеченіемъ словъ дикихъ и противныхъ.

Наконецъ, къ сему же роду должно отнесть и слогъ напыщенной, когда къ понятіямъ главнымъ, мелкимъ или низкимъ, привязаны понятія побочныя, блистательныя или высокія.

Разсуждая о высокомъ вообще, мы назначили нѣкоторые его источники. Здѣсь мы примѣтимъ, что слогъ тогда наипаче можетъ возвыситься, когда мысли побочныя, въ него входящія, берутся: I) отъ природы; II) отъ Религіи; III) отъ высокихъ страстей; IV) отъ политики.

I. Два рода зрѣлищъ представляетъ намъ природа: зрѣлища великія и зрѣлища красивыя, явленія, возбуждающія рѣдкостію, огромностію, великолѣ-

піемъ своимъ все наше вниманіе, ударяющія во всѣ точки нашего сердца, вдругъ возторгающія и увлекающія съ собою наше воображеніе и вселяющія въ душу удивленіе, смѣшенное съ страхомъ: сіи явленія называю я зрѣлищами великой природы. И возможно ли описывать ихъ или занимать отъ нихъ мысли, и не быть высокимъ? Можно ли говорить безъ возвышенія о сихъ ужасныхъ буряхъ, что вылетая изъ глубокихъ пещеръ сѣвера, на тяжкихъ крыльяхъ своихъ несутъ страхъ и опустошеніе, раздираютъ со стономъ атмосферу, опираются на утесистые хребты горъ, оттуда, оправясь и новою силою напрягшись, изторгаютъ столѣтніе дубы съ корнемъ изъ земли, подъемлютъ ихъ на воздухъ и бросаютъ съ трескомъ на необъятныя разстоянія, рвутъ, преломляютъ, подрываютъ, низвергаютъ, разрушаютъ все, что ни встрѣтится на пути? Можно ли, чтобъ видъ сего явленія въ сильномъ воображеніи Виргилія не родилъ высокихъ понятій? можно ли, чтобъ пламеннымъ перомъ не изобразилъ онъ намъ Эола, въ глубокой разселинѣ горы, давяща властію своею борющіеся вѣтры и налагающа тяжкія цѣпи на рвущіяся съ шумомъ бури? Тщетно, негодуя, силятся они разорвать сіи оковы; тщетно біютъ во врата пещеры. Эолъ, сѣдящъ на тронѣ, тяжкимъ скиптромъ своимъ укрощаетъ ихъ лютость и смягчаетъ ихъ рвенія. Отецъ боговъ поставилъ имъ его въ царя, да

правитъ ими по извѣстнымъ законамъ. Онъ заключилъ ихъ въ сію мрачную пещеру, отяготивъ верхъ ея громадами земли и необъятными горами. Безъ сего бъ они смѣсили небо съ землею, и возхитивъ, увлекли бы и разсѣяли всѣ творенія по пространству вселенныя. Такъ, когда Эолъ, преклоненъ прошеніемъ Юноны, ударилъ жезломъ своимъ въ ребра горы и отверзъ вѣтрамъ дверь: свившись въ вихрь, они съ свистомъ вырываются оттуда и облегаютъ море; внезапу волны съ самаго дна его подъемлются, кипятъ, покрываются пѣною и ударяютъ въ брегъ. Черныя тучи объемлютъ все небо, день изчезаетъ, нощь разстилается по понту, ревутъ громы, сверкаютъ молніи, смерть вьется надъ главами, ужасъ разливается по всѣмъ членамъ Энея, и пр. (смотр. lib. I, 56—95). Сюда такъ же можетъ отнесться описаніе Атланта (смотр. кн. 4).

Такимъ образомъ души великихъ піитовъ и ораторовъ поражаются великими зрѣлищами природы, и слогъ ихъ дѣлается высокимъ; все велико, что природа печатлѣетъ. Такимъ образомъ Оссіанъ, въ мрачной и глубокой меланхоліи, въ срединѣ темной ночи, сѣдящь на гробахъ усопшихъ героевъ, бесѣдуетъ съ ихъ тѣнями и вселяетъ въ пѣсняхъ своихъ благоговѣйный къ нимъ страхъ. Уныло его пѣніе; страшенъ его голосъ. Но кто любитъ великую природу, тотъ найдетъ въ его слогѣ лучшее ея изображеніе.

II. Можно ли, чтобъ слогъ не возысился такъ же, когда мы говоримъ о Религіи? Существо, превосходящее всѣ силы нашего воображенія, Существо, предъ Коимъ всѣ существа ничто, Существо, вѣсящее дланію своею вселенную и измѣряющее единымъ перстомъ своимъ все возможное пространство, Существо, Коего малѣйшее мановеніе есть сотворить міръ, наконецъ Богъ, полагаетъ великую печать свою на все, къ чему Онъ ни прикасается; и можно ли представить что нибудь возвышеннѣе, какъ слогъ нашихъ Пророковъ, когда они говорятъ о Немъ?—(См. Исаіи, гл. XL и XLIV; Псал. 33,103, 134.)

Переложеніе Псал. 103: «Благослови, душе моя, Господа» и пр. Поклоняйся, поклоняйся, душа моя, твоему Богу! Господи, какое величіе Тебя окружаетъ! Одѣянъ свѣтомъ, одною рукою Ты ставишь небеса, другою покрываешь водами превыспренняя своя. Твоя колесница—облаки, и крылатые вѣтры суть Твои кони. Огнь и пламень идетъ передъ Тобою, и сонмы ангеловъ Тебя окружаютъ. Ты основалъ землю на собственной тверди ея, и великая міра ось не преклонится во вѣкъ. Ты одѣялъ бездною вселенную. Ты рекъ, и воды приняли свое теченіе; Ты грянулъ гласомъ грома Твоего; онѣ въ трепетѣ остановятся. Ты подъемлешь всемогущую длань свою; и онѣ восходятъ на горы. Ты отягощаешь ее; и рѣки съ шумомъ падаютъ въ долины.

Твоя десница положила имъ предѣлъ; и волны въ ярости своей его не прейдутъ, но ударятъ въ него и въ немъ сокрушатся. Твой перстъ начерталъ кругъ луны, и солнцу указалъ западъ его. Изъ тьмы и мраковъ небытія Ты изводишь нощь, и покрываешь ею землю. Возстаетъ солнце, и мракъ разсыпаетъ. Великій Боже! тремя перстами Ты содержишь міръ, и бытіе его есть одно Твое хотѣніе. Но отними на минуту десницу Твою, отврати лице Твое; — какое преображеніе! великое міра колесо остановляется, ось его нагбенна; все приходитъ въ смятеніе; все падаетъ; все сокрушается; и въ одно мгновеніе сія громада существъ обращается въ ничто. Но Ты дхнешь, и разрушившійся міръ изъ праха и развалинъ подъемлетъ чело свое; всѣ части его сберутся; духъ жизни проліется въ нихъ и подвигнетъ. Ты склонишь только взоръ на землю, и въ самомъ сердцѣ своемъ она потрясается; Ты прикоснешься горамъ, и дымятся. Но кто исповѣсть все величіе Твое, великій Боже! Слабый смертный! твоя участь любить твоего Бога, любить, хвалить и непостигать.

(Псаломъ 17.) Возлюблю тя, Господи, крѣпосте моя, мое утвержденіе, прибѣжище мое, Богъ мой, помощникъ мой; всѣ мои надежды на Тебѣ утверждаются; я воззову къ Предвѣчному, и всѣ бѣды мои разсыплются. Увы! я стоялъ надъ бездною; уже челюсти ада на меня были разверзты. Но въ то са-

мое время, въ послѣдній уже разъ воззвалъ я къ моему Богу, я воззвалъ, и гласъ души моей проникъ сквозь твердь небесъ и раздался во святомъ Его храмѣ; мое стенаніе коснулось Его ушесъ; и въ то мгновеніе земля потряслась въ самомъ сердцѣ своемъ, она вострепетала, и великая ось ея была нагбена. Основанія горъ подвигнулись, возстенали. Все грозило страшнымъ разрушеніемъ, яко прогнѣвался Богъ. Изъ устъ Его вылеталъ пламень ярости; лице Его блистало огнемъ, и дымъ гнѣва Его простирался предъ Нимъ въ видѣ столпа. Онъ склонилъ небеса, и сѣдящь на мрачныхъ тучахъ, спустился на землю. Въ подножіи Его стояли херувимы; и сильные вѣтры, машущіе ужасными своими крылами, величественнымъ движеніемъ несли его на хребтахъ своихъ. Онъ облекъ себя нощію, и сѣнь Его составлена была изъ густыхъ облаковъ, подобныхъ водѣ. Онъ разбраздилъ молніею своею тучи, что плавали предъ Нимъ; развилось облако, Его несущее,— и Богъ открылся; Онъ открылся,— и громъ потрясъ небесные своды. Сквозь бурь, сквозь градъ и пламенныхъ дождей слышанъ былъ гласъ Его. Онъ послалъ стрѣлы свои, и молніи его раздрали нѣдро земли. Все трепетало. Тогда море возстало съ великаго своего ложа, открылась страшная бездна, и рѣки обнажили свое дно. Ихъ гнѣвъ Твой потрясъ, и вихрь мщенія Твоего сдвигнулъ ихъ съ вѣчныхъ ихъ мѣстъ. Ты простеръ ко мнѣ съ высоты силь-

ную свою длань, и восхитилъ меня отъ бурь и бѣдъ. Ты восхитилъ меня отъ среды враговъ, меня облежавшихъ, и силы ихъ, сдавляющія меня, предъ Тобою—ничто. Они окружили меня внезапу; уже мечь ихъ блисталъ надъ моей главою: но Ты, Вѣчный, покрылъ меня страшнымъ своимъ щитомъ. Ты препоясалъ меня силою свыше, и мышца моя, Тобой укрѣпленна, сломила мѣдный лукъ враговъ, на меня напряженный. Я преслѣдовалъ ихъ, постигъ, пронзилъ, и прахъ ихъ разсѣялъ. Я разсыпалъ весь сонмъ ихъ. Они пали подъ ногами моими, пали, и не возстанутъ. Они воззвали къ Господу, но поздно. Господь не внялъ имъ, и я стеръ пятою моею гордыя ихъ выи. Живъ Господь, благословенъ Богъ, Богъ отмщенія, Богъ милуяй своего помазанника Давида, и утвердивый завѣтъ благости своея съ сѣменемъ его во вѣкъ.

Вотъ сколько слогъ возвышается, когда мысли берутся отъ Бога и Религіи.

Горацій изображаетъ своего мудреца: Iustum et tenacem propositi virum и пр. (lib. III. od. III).

«Тщетно на мужа праваго и непоколебимаго возстаетъ въ свирѣпомъ бѣшенствѣ бунтующій народъ; тщетно тиранъ хочетъ вселить ужасъ въ него свирѣпымъ своимъ взоромъ. Душа его пребудетъ неподвижна среди самыхъ бурь, что подъемлютъ море съ великаго его ложа и сильнымъ порывомъ стремятъ волны на брегъ. Ничто, ни самъ

Юпитеръ, во всемъ рвеніи гнѣва своего, изъ тяжкой длани мещущій молніи и громы, ничто его не поколеблетъ. Если бы вселенная, разрушившись, на рамена его упала: онъ палъ бы подъ развалины ея, но палъ бы безъ трепета.» (*)

Hac arte Pollux et vagus Hercules, etc. Hor. lib. III, od. III. «Тако подвизались Поллуксъ и Иракль; тако подвизалися они,—и небо разверзшись предъ ними, приняло ихъ въ звѣздоносные свои кровы, гдѣ Августъ, возлежащъ среди ихъ, пурпуровыми устами пьетъ нектаръ. Тако и ты, Вакхъ, отецъ радостей и удовольствія, везомъ твоими тиграми, что предъ тобой единымъ преклонили свои гордыя и неукротимыя выи, возшелъ на небеса. Тако кони Марсовы изхитили Квирина изъ челюстей ада и поставили на Олимпѣ. Послѣ того, какъ Юнона, уступая волѣ Боговъ, такъ рекла вѣсящимъ имъ судьбы свои о Римѣ: Уже Иліонъ, ненавистный Иліонъ, лежитъ покровенъ пепломъ. Парисъ и Елена совершили его судьбу. Но рокъ его мною и Минервою предопредѣленъ съ того времени, какъ Лаомедонъ вѣроломствомъ своимъ нарушилъ клятвы, данныя богамъ. Уже нѣтъ Париса, и любовникъ прелестной

(*) Сіе мѣсто есть одно изъ драгоцѣннѣйшихъ остатковъ, какіе древность намъ сохранила. Трудно найти въ самыхъ лучшихъ ея произведеніяхъ изображеніе столь смѣлое, столь высокое; но примѣтьте, одна черта: nec fulminantis magna manus Jovis, безконечно его возвышаетъ, и три слова ставятъ его на самый верхъ высокаго и превосходнаго.

Спартанки лежитъ поверженъ въ прахѣ; уже Гекторъ мертвъ, и щитъ Пріамовъ палъ; уже сильная его десница не отражаетъ храбрыхъ Грековъ отъ Трои. Сіе ужасное пламя войны, что возжигающимъ намъ свирѣпѣло чрезъ столь долгое время, наконецъ изчезло, и съ нимъ потухъ жаръ моего гнѣва. Да сынъ Марса, сей сынъ, толико мнѣ ненавистный, чадо отъ чреслъ Троянской жрицы, отнынѣ возсядетъ одесную своего отца; да водворится онъ во свѣтоносные кровы небесъ; да вчинится въ созвѣздіе боговъ и піетъ съ ними нектаръ. Я на сіе согласна. Да потомки Тевкра обладаютъ свѣтомъ, доколѣ Римъ и Трою будетъ раздѣлять свирѣпѣйшее море. Да стоитъ неподвижно Капитолій; да слава его сіяетъ въ концы земли, и сильная десница Рима да прострется до самыхъ льдовъ; да страшное его имя пролѣтся съ ужасомъ въ отдаленнѣйшіе предѣлы, до мѣстъ, гдѣ понтъ раздѣляетъ Африку отъ Европы, гдѣ Нилъ орошаетъ поля тихими своими водами. Но въ то же время, да на гробѣ Пріама, и гдѣ Троя стояла, тамо обитаютъ звѣри; да Римлянинъ презираетъ злато и любитъ едину славу; да возложитъ цѣпи на вселенную; да пройдетъ до отдаленнѣйшихъ концовъ ея; да проторгнетъ всѣ преграды; да идетъ узрѣть мѣста, гдѣ пылаютъ вѣчные огни и гдѣ собираются густыя дожденосныя облака. Но я изрекаю судьбы мои о Римѣ подъ симъ закономъ, да нѣкогда, надѣясь на избытокъ силъ своихъ, ве-

домы любовію къ древнему своему отечеству, положатъ въ мысляхъ своихъ изъ праха вновь воздвигнуть Трою. Возстающее Трои чело я вновь поражу тяжкою моею дланію; я вновь при стѣнахъ ея поставлю побѣдоносныхъ Грековъ; и я, я, сестра и супруга Юпитера, буду сама предводительствовать ими. Да трикратно Ѳебъ воздвигнетъ вокругъ ея мѣдныя забрала; трикратно мои Греки сломятъ сію твердыню; трикратно жена, отягченная оковами плѣна, оплачетъ смерть мужа и избіенныхъ чадъ. — Но доколѣ, дерзкая муза, будешь ты повѣствовать судьбы боговъ? Престань великія дѣла унижать слабостію твоего гласа; пой забавы, или молчи!»

Что можетъ быть великолѣпнѣе, какъ сіе изображеніе суевѣрія въ Лукреціи? «Я зрѣлъ, говоритъ сей піитъ-философъ, я зрѣлъ, какъ родъ человѣческій лежалъ сдавленъ ужаснымъ колоссомъ суевѣрія, что воздымая отъ странъ превыспреннихъ главу свою, тяжкою пятою утверждался на выи слабыхъ смертныхъ, и страшнымъ своимъ взоромъ вселялъ въ сердца ихъ ужасъ и трепетъ. Кто могъ возстать изъ-подъ сей громады?—Эпикуръ, первый подъялъ неустрашимое чело свое, первый покусился на него воззрѣть, Эпикуръ, коего ни страхъ боговъ, ни сверкающія молніи ихъ, ни катающійся по небеснымъ сводамъ громъ, ничто не въ силахъ было устрашить; онъ напрягъ си-

лы свои, и первый разторгъ связующія его оковы, первый сломилъ твердыя врата природы, и гигантскимъ шагомъ прошелъ за предѣлы міра, за пламенѣющія его забрала, первый сталъ внѣ вселенныя и объялъ взоромъ великое цѣлое.»

Humana ante oculos fœda cum vita iaceret
In terris oppressa gravi sub religione,
Quæ caput a cœli regionibus ostendebat,
Horribili super aspectu mortalibus instans;
Primum Grajus homo mortales tollere contra:
Quem nec fama Deum, nec fulmina, nec minitanti
Murmure compressit cœlum, sed eo magis acrem
Virtutem irritat animi, confringere ut arcta
Naturæ primus portarum claustra cupiret.
Ergo vivida vis animi pervenit, et extra
Processit longi flammantia mœnia mundi,
Atque omne immensum peragravit mente animoque.
Lib. I, v. 64—75.

III. Великія страсти, будучи обыкновенно связаны съ великими дѣйствіями, возвышаютъ слогъ. Сюда относятся гнѣвъ, мщеніе и пр., особливо гнѣвъ боговъ. (Примѣръ изъ Гагедорна.) Что можетъ быть возвышеннѣе, какъ сія рѣчь Юноны, ищущей отмстить Энею. Cum Juno aeternum servans sub pectore vulnus etc. Aen. lib. I, v. 40—53. «Тогда Юнона, храня въ сердцѣ вѣчную вражду къ Энею, тако рвалась сама въ себѣ. И такъ Эней достигнетъ

своей Италіи? и такъ я останусь побѣжденною, и намѣреній моихъ не свершу? и для чего? понеже мнѣ противенъ рокъ. Какъ! Паллада могла сожечь корабли Аргивскіе и потопить Грековъ въ волнахъ за единый проступокъ разгнѣваннаго Аякса? Она могла изъ рукъ своихъ пустить Юпитеровъ громъ на нихъ, возмутить море волнами, разсыпать корабли, и его, изъ пронзенной груди мещуща пламень, восхитить вихремъ и вонзить на острый камень. Паллада могла такъ мстить; а я, я, царица боговъ, сестра и супруга Юпитера, съ однимъ народомъ столько лѣтъ сражаюсь безуспѣшно. И кто послѣ сего будетъ поклоняться Юнонѣ? кто воскуритъ на алтаряхъ ея ѳміамъ?»

Замѣтьте здѣсь между тѣмъ языкъ страсти въ самомъ вступленіи:

Cum Juno æternum servans sub pectore vulnus,
Hæc asecum:

Прибавьте, говоритъ Роллень, здѣсь: ait, и рѣчь потеряетъ живость свою и быстроту. Всѣ сильныя страсти, стыдъ, любочестіе, зависть къ Палладѣ, все совокупляется къ тому, чтобъ сильнѣе воспалить ея гнѣвъ. Стыдъ: Me ne incepto desistere victam? me ne? отнимите частицу: ne, перенесите и уничтожте вопросъ; мысль потеряетъ свою силу.—Я ли? кто? Юнона, Юнона не совершитъ своихъ намѣреній и останется побѣжденною? и для чего? Quippe vetorfa-

tis. Сія причина ее еще болѣе раздражаетъ; а примѣръ Паллады приводитъ ее въ бѣшенство: Pallas ne? Паллада, коея власть несравненно болѣе ограничена, Паллада могла жесточайшимъ образомъ отмстить Аргивцамъ, и за что? Unius ob noxam et furias; не за беззаконіе, не за обиду всѣхъ, но за проступокъ одного, и одного разъяреннаго гнѣвомъ, вышедшаго изъ предѣловъ ума:

Unius ob noxam et furias Aiacis Oilei?

А я, я, царица боговъ, сестра и супруга Юпитерова, воюю столько лѣтъ съ однимъ народомъ безъуспѣшно:

Ast ego, quæ Divûm incedo regina Jovisque
Et soror et coniux.

—Incedo: кажется, видишь при семъ словѣ, какъ Юнона величественнымъ шагомъ и со всею пышностію царицы боговъ выступаетъ въ собраніе ихъ: Divûm incedo regina.—И кто послѣ сего будетъ мнѣ поклоняться? быть побѣжденною Энеемъ, дать преимущество Палладѣ, сражаться безуспѣшно столько лѣтъ,—все сіе довольно раздираетъ сердце; но быть презираемой всѣми, и сестрѣ Юпитера зрѣть оставленными свои алтари, это превосходитъ уже всѣ мѣры терпѣнія.

Сюда принадлежитъ рѣчь Дидоны, оставленной Энеемъ: jbit hic et nostris advena illuserit regnis? а особливо подъ конецъ:

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor
и проч. (Aen. lib. IV, v. 590—625).

Великія страсти полагаютъ основу великимъ характерамъ; и отсюда-то происходитъ, что описанія и мысли ихъ бываютъ возвышенны.

Такъ, когда Медеѣ говорятъ: «Тебя ненавидитъ твой родъ; твой супругъ тебѣ измѣняетъ, и что осталось тебѣ въ защиту противъ толикаго множества враговъ?»—«Я, отвѣчаетъ она, я»—и сего довольно. Сіе геройское: *я* открываетъ все величіе, всю неустрашимость духа въ Медеѣ, и даетъ высокое объ ней понятіе.—Ярославъ похищаетъ любовницу у Владиміра; уже все готово къ ихъ браку; такъ говоритъ Владиміръ: уже и храмы отверсты, все возвѣщаетъ приближеніе вашего счастія.

«И боги, кажется, согласны всѣ теперь.
Я живъ,—богамъ не вѣрь.»

Тремя словами Луканъ даетъ высочайшее понятіе о Катонѣ, когда говоритъ: «Сторону побѣдителей защищаютъ боги сами, но побѣжденныхъ защищаетъ Катонъ: Victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni.» Уже вселенная покорилась Кесарю; но Катонъ одинъ во вселенной остался непреклоненъ; et cuncta terrarum subacta, praeter atrocem animum Catonis. Характеръ Регула, описанный Гораціемъ, вселяетъ къ себѣ родъ благоговѣнія: умъ едва мо-

жетъ вѣрить, чтобъ это былъ человѣкъ. Сюда принадлежитъ lib. III, od. V. (*)

IV. Понятія, взятыя отъ нѣкоторыхъ сторонъ политики, такъ же могутъ возвысить слогъ. Можно ли, чтобъ слогъ не возвысился при описаніи сей огромной машины, сложенной изъ толикаго множества частей и движимой прикосновеніемъ одного?

Единымъ мановеніемъ скиптра Государь заводитъ, или останавляетъ великое колесо правленія. Его умъ объемлетъ вдругъ тьму соображеній. Къ престолу его проведены тайныя нити отъ престоловъ всѣхъ земныхъ владыкъ, и малѣйшее потрясеніе ихъ возвѣщаетъ ему совѣты ихъ. Онъ вѣситъ на вѣсахъ своихъ силу и выгоду своихъ сосѣдей, и въ волшебную трубу озираетъ непрестанно политическій горизонтъ. Какъ скоро туча нападеній начнетъ сгущаться на извѣстной сторонѣ его; онъ уже готовъ ее разсыпать. И если слово его къ сему не довлѣетъ, изъ мрачной пещеры, гдѣ ужасъ и смерть основали свое жилище, онъ призываетъ войну, страшное чудовище, что нѣкогда адъ извергъ на землю къ погибели человѣковъ. Оковано тяжкими цѣпьми, оно сидитъ тамъ, на громадѣ труповъ и костей; желѣзное его чело возвѣщаетъ ужасъ. Вращая съ яростію кровавыя очи, оно ищетъ

(*) На медали, вытиснутой по случаю сожженія Турецкихъ кораблей при Чесмѣ, изображенъ флотъ непріятельской въ дыму и пламени, и на верху его надпись: *былъ*.

жертвъ, и во рвеніи досады грызетъ собственное свое чрево; изъ устъ его вылетаетъ пламя и смерть; обагренный и еще дымящійся кровію мечъ виситъ при бедрѣ его. У ногъ его лежатъ повержены сіи мѣдные громы, что однимъ ударомъ разятъ тысячи, рвутъ и разрушаютъ все, что̀ ни встрѣтятъ. Тамъ зрятся громады сего звѣрнаго, всепожирающаго огня, что искуство человѣка, похитивъ съ неба, умѣло замкнуть въ малое пространство порошка; тамъ зрятся и сіи огневидныя кометы, что направлены рукою человѣка, летятъ съ быстротою въ предопредѣленное имъ мѣсто и приносятъ съ собою страхъ и опустошеніе: и сему-то извергу ада ввѣряетъ Государь защитить права своего народа, отмстить врагу и сломить гордую его выю. Онъ речетъ,—и тяжкія оковы съ него упадаютъ. Съ свирѣпою радостью онъ хватается за мечъ и возлагаетъ на главу свою страшный шлемъ; врата пещеры со стономъ предъ нимъ отверзаются; ногою исполина онъ течетъ срѣтить непріятеля; черная пѣна ярости клубится при его устахъ; ужасъ и смерть ему предшествуютъ. Онъ подъемлетъ тяжкую свою длань, и тысячи лежатъ предъ нимъ повержены; всеобщее пламя объемлетъ поле сраженія; дымъ восходитъ столпами къ небу, и, собираясь въ густыя облака, въ срединѣ дня производитъ ночь; ревутъ громы, и твердыни градовъ колеблются, падаютъ и съ трескомъ разрушаются; земля покрывается трепещущи-

ми членами избіенныхъ; воздухъ раздирается стономъ умирающихъ. Тамъ нѣжная мать, по біенію сердца, узнаетъ оторванную часть своего сына, и въ нѣмой, жестокой печали, ищетъ между трупами останковъ его. Великій Боже! . . . . . (*)

О ПРОИЗНОШЕНІИ.

Подъ именемъ произношенія я разумѣю то, что̀ древніе называли actio; и въ семъ словѣ заключаю не только тонъ и наклоненіе голоса, но вмѣстѣ видъ и положеніе всѣхъ частей оратора.

Краснорѣчіе, Г. М., основано на недостаткѣ истиннаго просвѣщенія. Съ тѣхъ поръ, какъ сердце начало мѣшаться въ сужденія разума, съ тѣхъ поръ, какъ человѣкъ, утончивъ и раздраживъ свою чувствительность, попустилъ ей владычествовать во всѣхъ своихъ понятіяхъ, все захотѣлъ чувствовать и очень мало размышлять,—съ тѣхъ поръ страсти и предубѣжденія получили важной голосъ во всѣхъ сужденіяхъ; и вѣрной способъ убѣдить разумъ и выиграть дѣло истины есть—ввести въ свои виды сердце и воспалить воображеніе. На сей-то слабости и безсилін ума основали ораторы все таинство витійства, такъ какъ на первой несправедливости основали законодатели науку правосудія. Если когда-

(*) Конца здѣсь нѣтъ и, по плану сочинителя, кажется, многаго недостаетъ (объ особенныхъ свойствахъ слога краснаго и проч.).

нибудь умъ станетъ на сей высотѣ просвѣщенія, откуда онъ можетъ озирать истину во всемъ ея пространствѣ, и обоймет единымъ взоромъ все поле своихъ отношеній и пользъ: тогда предложитъ истину во всей ея простотѣ, будетъ убѣжденъ въ ней; тогда, въ ту самую минуту, разрушится вся наука краснорѣчія, прейдетъ царство лестныхъ заблужденій и настанетъ царство разума; тогда великіе памятники витійства сокрушатся,—

Черты Гомера и Марона,
Все ихъ безсмертное умретъ,

и на ихъ развалинахъ утвердится вѣчный престолъ всеобщаго смысла. Но доколѣ еще сія блистательная эпоха не придетъ, доколѣ просвѣщеніе наше будетъ только прививокъ заблужденій и предразсудковъ, дотолѣ будетъ необходимо сражать страсти страстьми, противоставить предразсудки предразсудкамъ, и весть умъ къ истинѣ чрезъ заблужденіе; это—дитя, которое надобно учить забавляя, и утѣшать обманывая. И такъ тѣ не знаютъ истиннаго начала краснорѣчія, которые думаютъ, что предубѣждающая внѣшность не нужна въ ораторѣ. Они не знаютъ, что самое существо витійства основано на предубѣжденіи: ибо основано на страстяхъ, и витія не что другое есть, какъ человѣкъ, обладающій таинствомъ, двигать по волѣ страсти другихъ, и слѣдовательно отнимать у разума холодную его

и строгую разборчивость, воспламенять воображеніе и отдавать ему похищенныя права разсудка. И такъ нашъ ораторъ не ограничитъ своего искуства однимъ только сочиненіемъ; онъ настроитъ съ предметомъ своимъ голосъ, лице, видъ и руку; все въ немъ будетъ говорить, и все будетъ краснорѣчиво. Древніе очень твердо знали сію истину; и внѣшность, по большой части презираемая нынѣ, была тогда существенною частію Риторики. Какихъ трудовъ стоило Демосѳену пріобрѣсть ее? но онъ лучше захотѣлъ бороться съ природою, нежели презрѣть ее. Цицеронъ путешествовалъ въ Грецію единственно для того, чтобы смягчить и сдѣлать ліющимся свой голосъ, и не прежде сталъ великимъ ораторомъ, какъ далъ гибкость и оборотъ рукѣ, сообщивъ выраженіе глазамъ, и всей внѣшности видъ предзанимающій. Повседневные примѣры оправдываютъ сію истину.—Для чего Аристъ, рожденный съ тонкимъ умомъ и удобовозгарающимися страстьми, Аристъ, пишущій съ выборомъ и вкусомъ, для чего онъ такъ малъ на каѳедрѣ оратора? Это потому, что въ немъ недостаетъ цѣлой половины къ сему роду знанія; онъ хорошій писатель, но худой витія. Для чего напротивъ Клистенъ, съ посредственнымъ умомъ, съ холоднымъ воображеніемъ и грубымъ вкусомъ, пользуется всею славою витіи? это потому, что, мало выражая словомъ, онъ сильно говоритъ видомъ, тономъ и рукою. Но откуда происходитъ,

что сіе рѣдкое совокупленіе слова и наружности необходимо нужно къ совершенному успѣху краснорѣчія? Основавъ вообще сію истину на необходимости предубѣжденія, снизойдемъ теперь къ частямъ ея и постараемся открыть каждой изъ нихъ истинное начало.

Давно уже философы жалуются на несовершенство языковъ. Въ самомъ дѣлѣ, нетрудно примѣтить, что есть тысяча тонкихъ оттѣнковъ въ разумѣ, коихъ никакимъ словомъ выразить не можно. Наши мысли бѣгутъ несравненно быстрѣе, нежели нашъ языкъ, коего медленной, тяжелой и всегда покоренной правиламъ ходъ безконечно затрудняетъ выраженіе. Сколько предметовъ, сколько сопряженій умъ можетъ обнять однимъ ударомъ, въ одно почти мгновеніе, и сколько недостаточны къ тому слова, чтобы весть безпрерывную исторію нашихъ размышленій! Прибавьте къ сему, что сцѣпленіе понятій въ умѣ бываетъ иногда столь тонко, столь нѣжно, что малѣйшее покушеніе обнаружить сію связь словами, разрываетъ ее и уничтожаетъ, не говоря о дѣйствованіи душевныхъ силъ, коихъ различныя сопряженія не можно изъяснить словомъ. Природа множество представляетъ намъ явленій и мелкихъ перемѣнъ, коихъ ни на какомъ языкѣ выразить не можно; и чтобы описать всѣ перемѣны, сопряженія, постепенности и смѣшенія однихъ цвѣтовъ, намъ надобно составить особенной

словарь, изобрѣсть новой языкъ. Сверхъ сего, говоря о слогѣ, мы имѣли случай примѣтить, что сила и напряженіе главныхъ понятій зависитъ отъ соединенія съ ними понятій побочныхъ. Слѣдственно, чтобъ сохранить сію силу, надобно предложить ихъ во всей ихъ связи. Сія связь бываетъ иногда столько тѣсна, или столько сложна, что надобно всю систему сихъ понятій предложить однимъ словомъ; но слова рѣдко намъ дѣлаютъ сію услугу. Самое лучшее изъ нихъ, самое значительнѣйшее обнимаетъ только половину сей системы, а другую оставляетъ въ умѣ, и такимъ образомъ раздвоивъ понятіе, отъемлетъ половину его силы, и подрываетъ смыслъ. Безспорно, что умъ слушателя, если онъ будетъ однороденъ съ умомъ оратора, найдетъ въ своемъ мозгу сію упущенную половину, и дополнивъ ее, сохранитъ въ мысли всю ея силу: но понеже не у всѣхъ сопряженія понятій одинаковы, или образъ мыслей однороденъ, то гдѣ возьмутъ другіе сію половину? откуда могутъ они дополнить понятіе? обыкновенной языкъ оратора къ сему не довлѣетъ. И такъ, онъ долженъ призвать на помощь другой языкъ, языкъ движенія, тона и внѣшняго вида. Онъ долженъ то дополнить лицемъ, рукой и наклоненіемъ голоса, чего не можетъ выразить словомъ. Изъ сего открывается истинное логическое понятіе ораторскаго вида, который не что другое есть, какъ дополненіе понятій, упущенныхъ по недостатку

словъ или несовершенству языка (*). Когда еще языкъ не вычищенъ и не обогащенъ, обыкновенно занимаютъ изъ другихъ слова, въ коихъ онъ недостаточенъ. Такъ Нѣмцы, въ половинѣ текущаго (**) столѣтія, по бѣдности языка, занимали слова изъ Латинскаго и Французскаго языка, и писали вдругъ на трехъ языкахъ; такъ и Французы, въ началѣ образованія своего слова, собирали великую дань съ Латинскаго. Такимъ же точно образомъ ораторъ, по несовершенству языковъ вообще, пользуется языкомъ всеобщимъ, языкомъ движенія и вида. Я называю его *языкомъ* во всей строгости слова. Въ самомъ дѣлѣ, возходя къ началу и рожденію человѣческаго слова, мы находимъ, что въ первобытномъ состояніи оно не что другое было, какъ языкъ движеній и естественныхъ криковъ. Первое чувствіе болѣзни, удивленія, страха, радости, извлекало изъ человѣка нестройный, но много выражающій крикъ, а первая нужда заставила его дать протяженіе рукѣ и указать вещь, которой онъ требовалъ. Сопрягая по малу сіи протяженія и различныя положенія руки, и соединяя ихъ по мѣстамъ съ простымъ голосомъ, онъ составилъ для себя небольшой языкъ, коимъ сообщалъ свои понятія, доколѣ не примѣтилъ изъ разныхъ и случайныхъ наклоненій голоса и ударенія

(*) Гдѣ понятіе prægnans, тамъ только нуженъ жестъ.

(**) Читатель припомнитъ, что это сочиненіе писано въ концѣ 18 столѣтія. *Примѣч. Изд.*

языка, что сей органъ способнѣе можетъ выразить его чувствія, нежели рука и видъ. Такимъ образомъ по-малу оставилъ онъ сей первый языкъ естества, и все началъ изображать словомъ; но тысячи съ нимъ встрѣчались, и теперь встрѣчаются, случаевъ, когда онъ принужденъ бываетъ употреблять сей древній и оставленный языкъ въ помощь новому. Сіе пособіе тѣмъ для него бываетъ необходимѣе, чѣмъ тонѣе и возвышеннѣе его понятіе, чѣмъ сильнѣе мысли и чѣмъ вѣрнѣйшаго и обширнѣйшаго требуютъ онѣ выраженія. Вотъ начало ораторскаго вида, тона и движенія, и истинная теорія сей важной и забытой части краснорѣчія.

О ПРАВИЛАХЪ ПРОИЗНОШЕНІЯ.

Нельзя почти дать никакихъ правилъ на сію важную часть Риторики: ибо какъ можно опредѣлить сіи тонкія перемѣны лица, гдѣ положеніе одной черты опредѣляетъ родъ страсти, и малѣйшее движеніе дѣлаетъ великой переходъ изъ одной страсти въ другую,—сіи непримѣтныя наклоненія голоса, кои различнымъ своимъ напряженіемъ даютъ одной и той же мысли различной смыслъ, наконецъ цѣлый видъ оратора, которому можно подражать, но коего не можно выразить ни на какомъ языкѣ. Между тѣмъ, однакожъ, мы сдѣлаемъ опытъ нѣкоторыхъ общихъ разсужденій о семъ предметѣ.

О ВИДѢ ОРАТОРА ВООБЩЕ.

Нѣтъ ничего столь важнаго въ ораторской наружности, какъ вступленіе проповѣдника на каѳедру. Посмотрите на сего святаго человѣка, когда онъ хочетъ изобразить словомъ своимъ сердечное сокрушеніе. На челѣ его напечатлѣно душевное его расположеніе; нѣжная и тихая задумчивость разливается по его лицу. Тихимъ и медленнымъ шагомъ приближается онъ къ каѳедрѣ. Всѣ ожидаютъ, когда онъ разверзетъ свои уста: но онъ еще молчитъ, и сіе молчаніе дѣлаетъ самое краснорѣчивѣйшее начало его слова. Кажется, въ душѣ его спираются страсти и не даютъ изхода его чувствіямъ; столько-то онъ исполненъ своимъ предметомъ! Наконецъ сердце его отверзается, и слабымъ, изнемогающимъ голосомъ онъ возвѣщаетъ первое его раскрытіе. Такимъ-то образомъ половину его проповѣди сказало уже намъ его лице. Ему нѣтъ причины приготовлять сердца слушателей; онъ воззрѣлъ, и они уже приготовлены. Но что значитъ сей воспаленный видъ, сіе лице, на коемъ изображается священное нѣкое негодованіе, сія поступь важная и вмѣстѣ стремительная, сей грозный ударъ очей, сія туча скорби, висящая на челѣ? Еще витія не издалъ ни единаго звука, а сердца слушателей уже поражены страхомъ; всѣ ожидаютъ только минуты, когда сей вѣстникъ гнѣва пуститъ

громъ небеснаго мщенія на преступниковъ закона. Такимъ-то образомъ видъ оратора предвозвѣщаетъ родъ его слова, и настроиваетъ сердца слушателей. Отсюда видно, сколько необходимо размышлять со всемъ вниманіемъ о предметѣ своего слова, чтобъ опредѣлить видъ, сообразный существу его, и сдѣлать разительное вступленіе на каѳедру.

На сіе разсужденіе нужно сдѣлать одно только примѣчаніе. Рѣдко предъубѣжденіе слушателей простирается до того, чтобъ забыть истинное лице проповѣдника и представлять въ немъ одного только оратора. Юный витія, восходящій на каѳедру съ дерзкимъ лицемъ, съ властительскимъ видомъ, съ отважнымъ и сильнымъ голосомъ, возмущаетъ самолюбіе старца, и слово его теряетъ свою силу. Сей послѣдній согласенъ быть его ученикомъ; но онъ хочетъ, чтобъ молодой его учитель чувствовалъ цѣну сей жертвы, и училъ его безъ угрозъ и съ почтеніемъ. Небольшая тѣнь стыдливости и маленькое замѣшательство въ молодомъ ораторѣ намъ больше нравится, нежели видъ важный и беззаботливый. Первымъ даетъ онъ намъ разумѣть, что почитаетъ наше просвѣщеніе, и не иначе, какъ съ страхомъ, приступаетъ къ изъясненію своихъ мыслей; а второе доказываетъ или лицемѣріе его, или безпечность—двѣ вещи, равно противныя тонкимъ расчетамъ самолюбія.

Начало слова всегда почти должно произносить тономъ среднимъ и умѣреннымъ, съ пріятною простотою, кротостію и непринужденіемъ. Сильное напряженіе голоса и руки во вступленіи, не сообразно съ спокойнымъ состояніемъ понятій слушающихъ; надобно ихъ постепенно возвышать и настроивать на свой тонъ, чтобъ послѣ сдѣлать счастливое на нихъ удареніе. Сверхъ сего, начавъ сильно, нельзя не ослабить къ концу, и тѣмъ самимъ опустить вниманіе слушателей и оставить слово безъ дѣйствія. Надобно, чтобъ лице, голосъ и руки, все оживлялось часъ-отъ-часу болѣе, и чтобъ конецъ или заключеніе было самое разительнѣйшее мѣсто въ словѣ. Здѣсь должны открыться во всемъ своемъ пространствѣ всѣ наружныя дорованія оратора, чтобъ докончить потрясеніе умовъ и сдѣлать ударъ, который бы долго раздавался въ ихъ сердцѣ.

О ВИДѢ ОРАТОРА ВЪ ЧАСТЯХЪ.

О лицѣ.

Кто чувствуетъ, и чувствуетъ сильно, того лице есть зеркало души. Начиная отъ самыхъ слабыхъ тѣней раждающейся страсти даже до величайшихъ ея восторговъ, отъ первыхъ ея началъ до самыхъ сильнѣйшихъ послѣдствій, всѣ степени приращенія, всѣ черты ея изображаются на живомъ и нѣжномъ лицѣ. Отсюда происходитъ, что языкъ лица всегда былъ признаваемъ вѣрнѣйшимъ толковате-

лемъ чувствій душевныхъ. Часто одинъ взглядъ, одно потупленіе брови говоритъ болѣе, нежели всѣ слова оратора, а посему онъ долженъ почитать существеннѣйшею частію его искуства, умѣть настроить лице свое согласно съ его рѣчью: а особливо глазъ, органъ души столько же сильный, столько же выражающій, какъ и языкъ, долженъ слѣдовать за всѣми его движеніями, и переводить слушателямъ чувствія его сердца. Прекраснѣйшая рѣчь движенія дѣлается мертвою, какъ скоро не оживляетъ ее лице. Напрасно Клеонъ силится великолѣпнымъ своимъ словомъ тронуть своихъ слушателей. Его голосъ не проходитъ къ сердцу: ибо его видъ туда его не провождаетъ. Его рѣчь дѣлаетъ предстоящимъ ту только услугу, что располагаетъ ихъ ко сну: ибо они праздны; ибо онъ ихъ не занимаетъ; ибо не разговариваетъ съ ними, но только читаетъ; и что они могутъ другое дѣлать, какъ хвалить твердость его памяти, скучать и спать? Я согласенъ, что слово его исполнено красотъ; но чувствуетъ ли онъ самъ истины, кои хочетъ внушить другимъ, чувствуетъ ли ихъ, когда лице его спокойно? Еслибъ страсть, наполнивъ его сердце, въ немъ волновалась, она пробилась бы чрезъ всѣ препятствія, выступила бы на его лицѣ, и оттуда пролилась бы на его слушателей. Нѣтъ! Клеонъ хочетъ только насъ обмануть, или далъ клятву усыпить. Посмотрите на огненнаго Ариста: на лицѣ его попеременно изо-

бражаются всѣ состоянія его души: то очи его сверкаютъ гнѣвомъ, то слеза умиленія катится по его лицѣ, то чело его опоясуется тучами печали, то лучъ радости на немъ сіяетъ. Tum cingit frontem nube, tum serenat alma luce. Все, все до слова сказываетъ намъ его видъ, что̀ ни чувствуетъ его сердце; и можно ли послѣ сего ему не повѣрить? не стыдно ли думать иначе, нежели думаетъ Аристъ? Такимъ-то образомъ пріобрѣтаетъ онъ неограниченную власть надъ умами, и дѣлается маленькимъ тираномъ сердецъ.

Одно примѣчаніе мнѣ кажется здѣсь необходимо нужнымъ. Ничто столько не отнимаетъ у лица его силы и выраженія, какъ сей неопредѣленный и блуждающій видъ, когда ораторъ, смотря на всѣхъ, не смотритъ ни на кого, когда не можетъ онъ опредѣлить точнаго мѣста, куда долженъ онъ склонять ударъ очей, и говоря всѣмъ, не говоритъ никому. Чтобъ избѣжать сего важнаго и очень обыкновеннаго порока, надобно разъ навсегда положить за правило, устремлять мысль, каждое помаваніе лица на одного кого нибудь изъ предстоящихъ, дабы казалось, что онъ именно ему говоритъ. Къ сей предосторожности надобно присовокупить еще другую, чтобъ раздѣлять сіе направленіе вида поперемѣнно по всѣмъ, а не смотрѣть въ продолженіе всей рѣчи на одного; надобно, чтобъ каждая мысль относилась къ одному изъ предстоящихъ, но чтобъ цѣлое слово не

относилось къ одному и тому же, а раздѣлено было всѣмъ по извѣстной части. Я не буду здѣсь говорить о размахахъ и безпрестанныхъ волненіяхъ головы, слишкомъ порывистыхъ и слишкомъ тупыхъ движеніяхъ глазъ, о непостоянствѣ или вѣтренности вида: всѣ сіи пороки довольно извѣстны и отвратительны и безъ моего напоминанія.

О голосѣ.

Счастливъ, кому природа даровала гибкой, чистой, ліющійся и звонкой голосъ. Древніе столько уважали сіе дарованіе, что изобрѣли особенную науку дѣлать его пріятнымъ. Частое упражненіе, напряженіе груди и вкусъ въ музыкѣ, могутъ дополнить, или сокрыть недостатки природы. Но мы слишкомъ мало заботимся о всѣхъ сихъ наружныхъ дарованіяхъ оратора, можетъ быть, потому, что слишкомъ мало знаемъ сердце человѣческое, и слишкомъ мало согласны въ сей истинѣ, что существо витійства основано на страстяхъ, и слѣдовательно на предубѣжденіи, а потому по большей части на наружности. Все сіе мы очень мало знаемъ; и для того гордимся подражать Демосѳену и Цицерону. Въ самомъ дѣлѣ, это малости; но соединеніемъ всѣхъ сихъ малостей они были велики. Diligenter intuere has nænias.

Тѣ ошибаются, говоритъ одинъ риторъ изъ новѣйшихъ, которые смѣшиваютъ напряженія голоса

съ его ключемъ, или тономъ. Можно говорить вразумительно и низкимъ голосомъ: ибо громкость голоса не зависитъ отъ возвышенія его, но только отъ напряженія.

О выговорѣ.

Языкъ твердой, выливающій каждое слово, не стремительной и не медленной, дающій каждому звуку должное удареніе, есть часть, необходимо нужная для оратора. Часто мы слушаемъ съ удовольствіемъ разговаривающаго человѣка потому только, что языкъ его оборотливъ и выговоръ твердъ. Слушатель, кажется, раздѣляетъ всѣ затрудненія оратора, когда языкъ его ему не повинуется, и очень дорого платитъ за его холодное нравоученіе. Кто хочетъ имѣть дѣло съ людьми, тотъ необходимо долженъ мыслить хорошо, но говорить еще лучше. Всѣ правила выговора содержатся въ сей мысли: promptum sit os, non præceps, moderatum, non lentum.

О движеніяхъ.

Разсуждая о видѣ оратора вообще, мы открыли истинное начало движеній руки, и усмотрѣли связь, которая существуетъ между ими и словомъ. Мы нашли, что рука дополняетъ мысли, коихъ нельзя выразить рѣчью; и слѣдовательно движеніе ея тогда только необходимо, когда ораторъ больше чувствуетъ,

нежели сколько можетъ сказать, когда сердце его нагрѣто страстію, и когда языкъ его не можетъ слѣдовать за быстротою его чувствъ. Отсюда можно произвесть важное правило, что рука тогда только должна дѣйствовать, когда нужно дополнять понятія. Холодный разумъ не имѣетъ права къ ней прикасаться; для него довольно одного органа: одна только страсть можетъ двигать всѣми частьми оратора и сообщать движеніе рукѣ. И такъ, нѣтъ ничего смѣшнѣе, какъ обыкновенные пріемы молодыхъ ораторовъ, которые почитаютъ за нѣчто необходимое, во все продолженіе рѣчи переносить руку съ одной стороны на другую, и симъ единообразнымъ искуснымъ маханіемъ прельщать своихъ слушателей. Повторимъ еще, что рука двигается тогда только, когда ударитъ въ нее сердце, т. е. въ мѣстахъ страстныхъ, жаркихъ и живыхъ. Во все прочее время она можетъ лежать спокойно. Отсюда такъ же происходитъ, что во всѣхъ малыхъ рѣчахъ, гдѣ страсти не имѣютъ ни времени, ни мѣста раскрыться, движеніе руки, каково бы оно ни было, есть совершенно нелѣпо.

Всѣ сіи примѣчанія о внѣшнемъ видѣ оратора, я чувствую, слишкомъ общи, и посему самому въ употребленіи безполезны; но я уже сказалъ, что это есть такая часть Риторики, въ которой все должно снимать съ примѣра, и очень мало съ словъ. Чтобы въ ней себя усовершить, нѣтъ другаго способа,

какъ примѣчать со всемъ напряженіемъ вниманія пороки и совершенства ораторовъ; а къ сему надобно имѣть сей тонкой и быстрой ударъ очей, уловляющій съ перваго взгляду Гораціево quid deceat in rebus.

Симъ окончимъ мы, Г. М. связь нашихъ разсужденій о витійствѣ. Никто, конечно, не чувствуетъ столько ихъ несовершенства, упущеній и небрежностей, какъ я. Ободренъ вниманіемъ вашимъ, я нечувствительно и почти безъ намѣренія предался влеченію моихъ мыслей. Можетъ быть, въ послѣдствіи винили вы самихъ себя, что дали мнѣ полную свободу вамъ скучать. Какъ бы то ни было, переходя отъ одной части къ другой, и почти непрестанно перемѣняя свой планъ, я старался только раздвигать кругъ собственныхъ своихъ понятій, никогда не предпринимая ни кого и ни чему учить. Отъ времени до времени, я сообщалъ только вамъ мои мысли во всей ихъ наготѣ и совершенно такъ, какъ онѣ въ головѣ моей раждались, т. е. слабыми, едва дышущими, одну основу и очертаніе носящими. Я не знаю, созрѣютъ ли онѣ когда нибудь.

Мнѣ извѣстно только то, что черта совершенства далеко отъ нихъ отстоитъ. Я ее понимаю; но не имѣю ни столько любочестія, ни столько силъ, чтобъ хотѣть къ ней приблизиться.

КРАТКІЯ
БІОГРАФИЧЕСКІЯ СВѢДѢНІЯ
О ГРАФѢ М. М. СПЕРАНСКОМЪ.

I. Постоянныя мѣста службы Графа Сперанскаго, и разныя должности сверхъ того ему поручавшіяся.

При переходѣ изъ учебной службы С. Петербургской Духовной Академіи въ общую гражданскую, Графъ Сперанскій поступилъ въ Канцелярію Генералъ-Прокурора, въ 1797 г., Января 2. — Высочайше опредѣленъ Герольдомъ Ордена Св. Андрея, въ 1798, Ноября 28.—Правителемъ Канцеляріи Коммисіи, Высочайше учрежденной въ 1797 году, подъ предсѣдательствомъ Его Императорскаго Высочества, Государя Цесаревича, Великаго Князя Александра Павловича, подъ именемъ *Коммисіи для снабженія резиденціи (С. Петербурга) припасами, для разпорядка квартиръ и прочихъ частей, до полиціи принадлежащихъ*, 1799, Декабря 8.—Секретаремъ орде-

на Св. Андрея, 1800, Іюля 14.—Статсъ-Секретаремъ, 1801, Марта 19.—Экспедиторомъ въ Канцелярію Государственнаго Совѣта, по части Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ, 1801, Апрѣля 23.—Повелѣно быть при Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ, 1802, Сентября 8.—Директоромъ Департамента Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, 1803, Января 23.—По образованіи Второй Экспедиціи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, опредѣленъ Управляющимъ ею, 1806, Апрѣля 20.—Отъ должности Управляющаго сею Экспедиціею уволенъ, съ оставленіемъ при прочихъ должностяхъ по званію Статсъ-Секретаря, 1807, Октября 19.—Членомъ Коммисіи Духовныхъ Училищъ, 1808, Іюня 26.—Присутствующимъ въ Коммисіи Составленія Законовъ, 1808, Августа 8.—Членомъ Коммисіи для Разсмотрѣнія Лифляндскихъ Дѣлъ, 1808, Августа 18.—Товарищемъ Министра Юстиціи, 1808, Декабря 16.—Канцлеромъ Абовскаго Университета, и Членомъ Главнаго Училищъ Правленія, 1809, Апрѣля 17.—Государственнымъ Секретаремъ и Директоромъ Коммисіи Составленія Законовъ, 1810, Августа 30.—Находился внѣ службы съ 17 Марта 1812 по 30 Августа 1816; 30 Августа 1816 опредѣленъ Пензенскимъ Гражданскимъ

Губернаторомъ; при семъ опредѣленіи покойный Государь Императоръ, въ Высочайшемъ указѣ Правительствующему Сенату, тогда же обнародованномъ, изволилъ изъяснить слѣдующее: «Предъ начатіемъ войны 1812 года, при самомъ отправленіи Моемъ къ арміи, доведены были до свѣденія Моего обстоятельства, важность коихъ принудила Меня удалить отъ службы Тайнаго Совѣтника Сперанскаго, къ чему во всякое другое время не приступилъ бы Я безъ точнаго изслѣдованія, которое въ тогдашнихъ обстоятельствахъ дѣлалось невозможнымъ; по возвращеніи Моемъ приступилъ Я ко внимательному и строгому разсмотрѣнію поступковъ его, и не нашелъ убѣдительныхъ причинъ къ подозрѣніямъ.»—Опредѣленъ Сибирскимъ Генералъ-Губернаторомъ (Генералъ-Губернаторомъ обѣихъ частей Сибири, Восточной и Западной), 1819, Марта 22.—Членомъ Государственнаго Совѣта, по Департаменту Законовъ, 1821, Іюля 17; присемъ Высочайше поручено Графу Сперанскому возобновленіе работъ по Гражданскому и Уголовному Уложеніямъ въ Государственномъ Совѣтѣ и въ Коммисіи Составленія Законовъ.—Членомъ Сибирскаго и Азіятскаго Комитетовъ, 1821, Іюля 16 и 28. По раздѣленіи Сибири въ

1822 году на два главныя управленія и по назначеніи туда двухъ Генералъ-Губернаторовъ, Графу Сперанскому поручено было продолжать управленіе по прежнему всѣми Сибирскими губерніями и областями, впредь до прибытія туда Генералъ-Губернаторовъ, 1822, Іюня 29.—Членомъ Комитета о проектѣ Учрежденія для Управленія Военныхъ Поселеній, 1823, Января 24.—Членомъ Комитета о проектѣ Учрежденія для Управленія Войска Донскаго, 1823, Мая 21.—Членомъ Комитета объ устройствѣ Университетовъ, Гимназій и прочихъ учебныхъ заведеній, подвѣдомственныхъ Министерству Народнаго Просвѣщенія, 1826, Мая 14. Въ началѣ того-же года, Коммисія Законовъ преобразована во Второе Отдѣленіе Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи, работы ея поступили въ непосредственное Его Величества вѣденіе, а главное распоряженіе ими въ Отдѣленіи и доклады по нимъ Его Величеству возложены на Графа Сперанскаго.—Предсѣдателемъ Комитета о составленіи Устава Вексельнаго, Устава о Торговой Несостоятельности, и Учрежденія Коммерческихъ Судовъ, 1827, Октября 7.—Членомъ Думы о знакѣ отличія безпорочной службы, 1828, Іюля 26.—Предсѣдателемъ Комитета о составленіи

Рекрутскаго Устава, 1829, Апрѣля 1.—Членомъ Комитета объ устройствѣ запасныхъ магазиновъ народнаго продовольствія, 1833, Ноября 10.—Повелѣно присутствовать по Государственному Совѣту, кромѣ Департамента Законовъ, въ Департаментѣ Дѣлъ Царства Польскаго, 1835, Января 6.—Членомъ Комитета для изысканія средствъ къ уменьшенію расходовъ по Министерству Финансовъ, 1835, Января 7.—Предсѣдателемъ Комитета объ устройствѣ Столичной Полиціи, 1836, Марта 1.—Предсѣдателемъ Департамента Законовъ Государственнаго Совѣта, 1838, Апрѣля 2.

II. Время пожалованія чинами и другими знаками Всемилостивѣйшаго вниманія.

Въ службу гражданскую Графъ Сперанскій вступилъ съ чиномъ Титулярнаго Совѣтника, въ слѣдствіе званія Магистра, которое онъ при семъ вступленіи имѣлъ.—Произведенъ былъ: въ Коллежскіе Ассесоры 1797, Апрѣля 5; въ Надворные Совѣтники 1797 (мѣсяцъ и число неизвѣстны); въ Коллежскіе Совѣтники 1798, Сентября 18; въ Статскіе Совѣтники 1799 (мѣсяцъ и число неизвѣстны); въ Дѣйствительные Статскіе Совѣтники 1801, Іюля 9; въ Тайные Совѣтники 1809, Августа 30; въ Дѣйствительные Тайные Совѣтники

1827, Октября 2.—Кавалеромъ орденовъ: Св. Іоанна Іерусалимскаго 1800, Декабря 31; Св. Владиміра 3 степени 1806, Ноября 18; Св. Анны 1 степени 1807, Марта 15; Св. Владиміра 2 степени 1808, Іюня 26; Прусскаго ордена Краснаго Орла 1808, въ Октябрѣ; Св. Александра Невскаго 1812, Января 1; Св. Владиміра 1 степени 1826, Августа 22; Св. Андрея Первозваннаго (за совершеніе Свода Законовъ Имперіи) 1833, Января 20. – Жалованъ брилліантовыми знаками орденовъ: Св. Александра 1827, Іюля 8; Св. Андрея 1837, Апрѣля 17.—Жалованъ знакомъ отличія безпорочной службы: за XXV лѣтъ 1828, Августа 22; за XXX лѣтъ 1834, Августа 22; за XXXV лѣтъ 1837, Авг. 22.—Жалованъ табакерками брилліантами украшенными: съ вензелевымъ Его Императорскаго Величества именемъ 1803, Января 1; съ портретомъ Его Величества 1828, Января 22. – Удостоенъ Всемилостивѣйшихъ рескриптовъ: 1827 Іюля 8; 1828 Января 22; 1837 Апр. 17; 1838 Апрѣля 17 (за совершеніе Свода Военныхъ Постановленій); 1839 Января 1 (при возведеніи въ Графское достоинство). Жалованъ: пенсіономъ по смерть, по двѣ тысячи рублей ассигнаціями въ годъ, 1801, Марта 19; предоставленіемъ въ 12-лѣтнее содержаніе

мызы Аагофъ въ Лифляндской губерніи, безъ платежа арендныхъ денегъ, 1806, Апрѣля 20; сохраненіемъ оклада въ шесть тысячъ рублей ассигнаціями, при удаленіи отъ службы въ 1812 году (Марта 17); сохраненіемъ того же оклада и продолженіемъ предъидущей аренды на новыя 12 лѣтъ при опредѣленіи вновь на службу (въ Пензу Гражданскимъ Губернаторомъ), сверхъ жалованья и столовыхъ по мѣсту, 1816, Апрѣля 30; участками земли: въ пять тысячъ десятинъ въ Саратовской губерніи, 1818, Января 23, и въ три тысячи четыреста восемьдесятъ шесть десятинъ въ Пензенской губерніи, 1821, Августа 5; сохраненіемъ жалованья и столовыхъ денегъ, производившихся въ Сибири по званію Генералъ-Губернатора, 1822, Іюня 29,— когда остался на службѣ въ С. Петербургѣ, въ Государственномъ Совѣтѣ (въ которомъ никакого содержанія для Членовъ его по штатамъ не полагается); предоставленіемъ въ 12-лѣтнее содержаніе арендnаго имѣнія Волколатъ, 1828 Февраля 17.

P. S. Графъ М. М. Сперанскій родился во Владимірской губерніи, во Владимірскомъ уѣздѣ,

въ селѣ Черкутинѣ, 1 Января 1772 года (по инымъ свѣденіямъ: *1771 года);* скончался въ С. Петербургѣ, въ 1839 году, Февраля 11, въ восьмомъ часу вечера; похороненъ въ Александро-Невской Лаврѣ, на *новомъ,* иначе называемомъ, *Карамзинскомъ* кладбищѣ (Исторіографъ *Н. М. Карамзинъ* похороненъ на семъ же кладбищѣ, кажется, первый).

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стран.

О краснорѣчіи вообще . . . . . 5.
Вступленіе . . . . . 14.
Доказательства . . . . . 18.
О страстномъ въ словѣ . . . . . 23.
О природѣ страстей . . . . . 25.
Заключеніе . . . . . 42.
О сочиненіи . . . . . 44.
О возрастахъ сочиненія . . . . . 57.
О сочиненіи въ его частяхъ . . . . . 61.
О изобрѣтеніи . . . . . —
О вкусѣ . . . . . 63.
Теорія высокаго . . . . . 72.
О стихіяхъ высокаго . . . . . —
О высокомъ въ мысляхъ . . . . . 82.
О высокомъ въ страстяхъ . . . . . 88.
О источникахъ высокаго . . . . . 94.
Второй источникъ высокаго, или сила воображенія . 98.
Третіе пособіе высокаго, или чтеніе . . . . . 100.
О вкусѣ въ красивомъ . . . . . 104.
О красивомъ въ мысляхъ, или о тонкости и глубокости мыслей . . . . . 108.
О красивомъ въ страстяхъ, или о нѣжномъ . . . . 115.
О вкусѣ въ простомъ или естественномъ . . . . 120.
Усовершенія вкуса . . . . . 129.
О чувствительности вкуса . . . . . 130.
О утонченія или нѣжности вкуса . . . . . 136.
О вѣрности вкуса . . . . . 140.
О соразмѣрности началъ вкуса . . . . . 144.
О расположеніи слова . . . . . 148.
О слогѣ . . . . . 158.

Стран.

Теорія слога . . . . . 162.
Общія свойства слога . . . . . 173.
I. Ясность . . . . . —
II. Разнообразіе . . . . . 176.
III. Единство слога . . . . . 177.
IV. Равность слога съ матерією . . . . . 178.
Особенныя свойства слога . . . . . 179.
I. Свойства слога высокаго . . . . . —
О произношеніи . . . . . 201.
О правилахъ произношенія . . . . . 207.
О видѣ оратора вообще . . . . . —
О видѣ оратора въ частяхъ: . . . . . 210.
О лицѣ . . . . . —
О голосѣ . . . . . 213.
О выговорѣ . . . . . —
О движеніяхъ . . . . . 214.

ОПЕЧАТКИ.

Стр.	*Строк.*	*Напечатано.*	*Должно читать.*
13	20	его	ею
37	22	страсти.—Два	страсти—два
53	27	мыли	мысли
61	5	къ каждой	въ каждой
71	21	оныя	опытъ
82	22	о тратѣ	о утратѣ
125	8	образцы	образы
154	3	ahsuunt	assuunt
176	2	себя	самъ
196	18	asecum	secum

Д-79-80

PN 4105 .S7 C.1
Pravila vysshago krasnoriechii
Stanford University Libraries
3 6105 036 131 253

(20)

1791

DATE DUE

STANFORD UNIVERSITY LIBRA
STANFORD, CALIFORNIA
94305